У51

А. Ульянский
В плену

У 57

А. УЛЬЯНСКИЙ

891.7-3

В ПЛЕНУ

(1915—1918)

1. Завод Ликана.
2. Происшествие с бочкой.
3. Пленный Снель.
4. Венгрия, октябрь, 1918.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА РСФСР
№ 41581 к
БИБЛИОТЕКА КРАСНОЙ ПРЕСНЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ
Инв. № 41581
V

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД
1924

Государственное издательство
Типография имени
Н. Бухарина
Ленинград

Ул. Моисеенко, 10.

Гиз. № 10054. 4.000 экз. Ленинградский Гублит № 8300.

ЗАВОД ЛИКАНА

1*

1.

Поздней осенью на кирпичный завод Ликана привезли партию русских пленных. Тридцать голодных, по особенному одетых людей под конвоем двух австрийских солдат. Пленных ждали утром и приготовили для них завтрак, ждали к обеду и приготовили обед, они приехали только к сумеркам, и хотя им дали и завтрак, и обед, и ужин сразу, они не были сыты и, едва разместившись в бараке, все куда-то исчезли.

Завод стоял за городом, среди пустырей и огородов, и еще по дороге со станции люди присматривались к местности, чтобы ночью без ошибки попасть на картофельное поле.

Младший конвойный заглянул в барак и, не найдя там никого, побежал докладывать старшему, что москалей нет на месте, что должно быть они разбежались.

— Они вернутся, — сказал старший успокоительно. — Теперь им надо две недели есть картошку, пока кто-нибудь действительно захочет бежать...

Ночью на верху заводской обжигальной печи неуверенно бродили людские тени, отыскивая

отверстия, чтобы опустить в огонь котелки. По темным углам шли заглушенные разговоры.

Паляч, пан Печик, обязанный каждые четверть часа подсыпать через каслики угольную пыль и следить, чтобы печь не выстуживалась, долго сопротивлялся москалям, непременно желавшим опустить котелки на проволоке поближе к огню, призывал бога и дьябля против людей, не понимавших, что открытый каслик — гибель для кирпича, но под конец должен был уступить и удержал за собой только девять главных касликов непосредственно над тем местом, где калился свежий кирпич. Он был расстроен и обескуражен.

— Нех шлях трафи цих холерских москалей...

В первый раз он имел дело с людьми, не желавшими понимать, что он, Печик, служитель огня, заключенного сейчас под девятью касликами, и что он ждет момента, когда можно будет позволить огню ступить на один каслик дальше, а последний каслик оставить стынуть. Что он уже не первый год водит огонь по кругу, каждый день все вперед, так что закладчики внизу едва поспевают отступать перед огнем, подкладывая ему толщу сырого кирпича, а откатчики — с другой стороны — вывозить остывший кирпич из тех мест, где огонь уже прошел...

Следующий день был воскресенье. Москали отлеживались в бараке и на солнышке, бродили по заводу, а между завтраком и обедом и обедом и ужином не забывали варить на печке добытую ночью картошку. Но в этот день они были более разборчивыми. Несоленая картошка, сваренная в ржавой воде из-под помпы, поедаемая вместе с лущпайками, никому уже не приходилась по

вкусу. Картошку чистили, мяли, солили и за водой ходили к колодцу. Кое-кому требовалась в котелок луковка. А были и такие, кто уже в этот день говорил, что картошка, хоть и соленая, и размятая, но ничем не мащеная, не бог знает какое кушанье. Но таких людей было один или два на тридцать человек. Остальные и в этот день находили, что котелок картофельной тюри можно съесть с удовольствием в любое время, и продолжали думать так и потом, вплоть до того момента, когда крестьяне, напуганные ежедневными москальскими набегами, поторопились выкопать всю картошку и свезти ее с поля домой.

В понедельник на рассвете при торжественной обстановке прогудел гудок, молчавший несколько месяцев, с тех пор, как была снята с работ партия отпускных солдат; пришли местные рабочие, все эти месяцы пробавлявшиеся копанием глины; пан заржонца (управляющий), в военном мундире, построил москалей в два ряда и произнес речь в том смысле, что, конечно, дело тут казенное, а москали люди наморенные и кормить их и платить им будут не бог знает как, что многого от них на первое время не требуется, но пусть панове-москале все-таки мало-мало двигаются... Проявившие же усердие будут награждены особо... Пан Рыба, мастер, тут же отобрал двоих посильнее к машине, резать и откладывать, четырех на месилку, пятерых в печку, остальных рассовал по стеллажам [1]) и заставил гонять вагонетки, и повел все дело в таком темпе, что те, кто оказался у машины,

---

1) Стеллажи — стойки с рядами перекладин, на которые кладется свежий кирпич для просушки.

не шутя радовались случаю, когда вместе с глиной в машину попадал обломок кирпича, которого она не могла разжевать, и дело на пару минут останавливалось.

За этим днем пошли такие же другие, и так началась для москалей та самая разнесчастная военнопленная жизнь, которая, конечно, во сто раз лучше голодного лагерного сиденья, однако богата и голодом, и вшами, и всяческой нищетой. И если иному москалю и было за что помянуть ее добром, так разве за то, что тут он был не в тюрьме. Он ходил на свободе и за версту и за две, по своим делам, и если попадался полицейскому инспектору, то достаточно было сказать, что он с завода Ликана и его отпускали. — „Що ты за еден?“ — спрашивал инспектор. — „С цегельни Ликанта“, — отвечал москаль. Инспектор смотрел и говорил: „Идь“. И на печке было много темных углов, где он мог по вечерам сидеть над касликом, думать и вспоминать.

Да и днем случалось ему забираться в такие места, куда не хватал глаз пана Рыбы, стоять и вглядываться вдаль, в туманные перспективы полей и контуры старого города за Вислой. И эти расплывчатые картины, порождения болотной равнины, очаровывают его своей печалью и красотой.

Вот черный купол костела и окна высоких домов блестят вдали под осенним солнцем и приковывают его взор... Но москаль помнит, что вчера он стоял на этом же месте и не видел ни костела, ни домов. Темная пасть железнодорожного виадука была тогда перед ним в этом месте, и в ней пропадали силуэты людей и возов. А еще

через несколько минут за новой туманной завесой он уже не видит ни костела, ни виадука. Солнце освещает обсаженную ивами дорогу с обгорелым домом в перспективе и группу мальчиков-пастухов около кучи тлеющей ботвы.

У него появляются привязанности в этих местах. Маленькая седенькая лошадка пана Хуся, ежедневно являющаяся щипать травку к стеллажам, делается объектом его нежности. Или это какой-нибудь синеглазый малыш, Сташек или Янек, из бесчисленной детворы предместья. И в каком-нибудь из разбросанных по пустырям домиков у него заводится знакомое семейство. Живут здесь бедняки, люди с грубыми руками и простым сердцем, к зиме радующиеся тому, что день убывает, а к весне не менее довольные тем, что дни становятся дольше. И хотя москаль в сравнении с ними — отщепенец и нищий, эти люди часто смотрят на него не без зависти. Потому что он ни пред кем не ломает особенно шапки, а случается, подымает голову и совсем высоко, а они никогда не могут позволить себе этого и добывают пропитание двужильным трудом и сугубой покорностью.

2.

Странный народец подобрался работать у Ликана. Время было военное, все молодое и сильное повыбыло и служило в войсках, и Ликан обходился калечью, стариками и подростками, женщинами, хромыми, забракованными инвалидами.

Однако, забракованный в пяти комиссиях, суперарбитрированный, Жолнерчик, вывозивший

кирпич из печки полной мерой, делал работу, которой не осилили и два молодых москаля, когда их поставили за его тачку, хоть и раскорячились свыше меры.

Да и мальчики-подростки, перебрасывая кирпич по цепи, ловили сырые кирпичины на-лету, зажимая их двумя пальцами по одной на каждую руку, а у москалей от этого самого руки мгновенно уставали, и из трещин на пальцах шла кровь.

А что касается вагонеток, то одной силой их через дрейшайбы не протолкнешь, если не знаешь, где поднажать и где поднаклонить, и первое время не раз случалось, что группа малышей, собравшись около какой-нибудь сошедшей с рельс и застопорившей движение вагонетки, сначала долго и иронически наблюдает, как два рослых москаля выбиваются из сил, пытаясь на руках поднять вагонетку вместе с двумя сотнями кирпичей, а потом кто-нибудь из них скажет:

— Поцо сен пан так мордуе?

И покажет, что для этого достаточно повиснуть вдвоем на задней решотке так, чтоб передние колеса поднялись вверх, оттолкнувшись ногой о землю, повернуть передок в воздухе и поставить его на рельсы, — это делается легко, — а затем повиснуть на передке и проделать то же самое с задними колесами, и тогда вагонетка покатится дальше как ни в чем не бывало.

В первые дни нередко также оказывалось, что, хватаясь за скобу вагонетки, москаль обнаруживал, что она свеже вымазана вонючей колесной мазью, и в гневе гонялся за разбегающимися перед ним малышами, держа на-отлете выпачканные руки.

Случалось также, что, сняв с каслика свой котелок с разогретым супом и уничтожив содержимое, москаль под самый конец вылавливал камешек или кусок глины, подброшенный кем-нибудь из мальчишек, особенно Стасиком, младшим палячем. Но однажды самый большой москаль пришел на печку и показал пакостному Стасику свой кулак, самый большой кулак, каким располагали москали, и Стасик стал пакостничать с большей осмотрительностью.

3.

В первый же день работы москали заметили на заводе одну странную фигуру — человечка неопределенного возраста, с обветренным безволосым лицом и неуловимым, не то дурацким, не то ироническим взглядом. Человечек гонял тачку от кучи угольной пыли к подъемной машине, ступал косолапо и должно быть не замечал, что штаны у него не застегнуты, а из полуоткрытого рта свисает слюна.

Он ходил и ходил взад и вперед с своей тачкой, ставил пустую тачку под решето, несколькими взмахами лопаты наполнял ее пылью, отвозил к лифту и налегке возвращался назад. Но на двадцатом рейсе человечек почему-то замечтался. Он бросал и бросал на решето лопату за лопатой и не замечал, что тачка давно уже полна и по бокам ее на земле выросли два черных холма. Бросал и улыбался блаженно и изредка искоса оглядывал окружающих. Потому что, один за другим, люди останавливались, чтобы посмо-

треть на странное зрелище, и их набралась толпа.

— Ендрек! Ендрек! — кричали мальчишки, стараясь вывести его из рассеянности, и выходили из себя, потому что невозможно было долго выносить зрелище человека, нагружающего давно уже полную тачку. — Ендрек!..

Ендрек окидывал их блаженным взглядом и продолжал свое дело.

И потребовалось притащить камень и обрушить его в лужу около угольной кучи с таким расчетом, чтобы водой окатило Ендрека, и только тогда он пришел в себя, остановился и сейчас же покатил тачку к лифту. Глаза его бегали.

Притворяется Ендрек или нет? — вот вопрос, который интересовал москалей, да так до самого конца и остался нерешонным. Чорт его знает!

Вот он работает вместе с отцом, старым Свентеком, на глине. Пока Ендрек отвозит одну тачку, пан Свентек успевает наполнить другую. Работа некоторое время идет гладко.

Но вдруг Ендрек начинает дурить. Бросает тачку на полдороге, идет куда-то. Тогда пан Свентек догоняет сына и вразумительно, глядя ему в глаза, говорит:

— Хлопак! Цього не зробишь — обяда ниц...

Ендрек хмурится, обдумывает угрозу, повидимому находит ее заслуживающей внимания и покоряется.

Такие перерывы в работе случаются несколько раз в день, и если дело происходит после обеда, пан Свентек обещает оставить его без ужина:

— Хлопак! Цього не зробишь, коляция ниц...

И всегда Ендрек покоряется.

И если кто из москалей наблюдает такие сцены с удивлением, пан Свентек говорит в объяснение:

— Не мае хлопак розуму... Мал хлопак розум, тераз не мае...

И рассказывает, как Ендрек лет пять назад заболел водянкой мозга.

Иногда Ендрек, обшарив себя со всех сторон, доставал откуда-то трубку, брал ее в рот и ходил посапывая, как настоящий курильщик, но на самом деле в трубке не было никакого табаку и в лучшем случае у отца оказывался для него особый табак — тертый буковый лист.

За щепотку настоящего табаку Ендрек был готов на что угодно. Мальчишки за окурок папиросы заставляли его танцовать, топтаться на месте до изнеможения, учили пускать дым глазами, через уши. Убеждали его, что это у него отлично выходит.

— А ну, Ендрек, — говорили под конец, — пусти дым дупем...

Ендрек глотал дым, тужился и с осторожностью поворачивал голову назад, ожидая увидеть дым, выходящий сзади из-под фалдочек его куртки. Старался изо всех сил.

Также известна была его манера никогда не уходить с завода с пустыми руками и унести хотя бы сноп соломы из конюшни, кирпич или какую-нибудь железку. И ночной сторож, огромный босняк, ежедневно нагонял его, отбирал похищенное и бил его наотмашь, а Ендрек кричал негромко и тупо, как кричат животные, когда чувствуют боль, но не знают, откуда она приходит.

Таким образом выходило со всех сторон, что Ендрек дурак и правы те, кто говорит, что притворства в нем нет.

И однако случались факты, сильно противоречившие этому. Иной раз москалям, опоздавшим к обеду, случалось разогревать свои котелки на касликах, над огнем обжигальной печи, и иногда таких котелков, расставленных правильными рядами по числу отверстий, выстраивалось более десятка. И вот появлялся Ендрек с озобоченным видом по своему делу и смотрел на котелки искоса. Спустя немного он появлялся снова с какой-нибудь доской, с жолобом, по которому спускали вниз кирпич и который ему почему-то требовалось перетащить через печь на другую сторону. Где-нибудь среди печки он обязательно натыкался на кирпичину, падал, доска с силой вылетала у него из рук и, описывая концами дуги, падала на пол, сшибая в огонь один за другим москальские котелки.

И так ловко все выходило, что невозможно было предположить в его действиях расчет. Где было тут и самому тонкому глазу рассчитать, что упасть надо именно в этом месте и доску надо не просто выронить из рук, чтобы она тут же шлепнулась на землю, а с разгоном, чтобы одним концом она пришлась по котелкам справа, другим — по котелкам слева.

Москали, оставшиеся без обеда, конечно, выражали недовольство, и пан Свентек извинялся перед ними за сына. В другое время, говорил он, и если б у него было что-нибудь с собой, он предложил бы москалям хлеба или картошки взамен обеда, но на сей раз просит его извинить.

— Тераз не маю хлеба...

— Ты, пан, никогда не маешь хлеба, — говорили москали, — ты бы где-нибудь достал...

Ендрек мог подолгу выпрашивать у кого что придется и особенно любил клянчить у москалей сахар, потому что видел, как когда-то москали тащили в барак котелки с красным конским сахаром, перекупленным на-ходу у других москалей, возвращавшихся под конвоем с работы в пакгаузах. Но так как дело было много времени назад и давно уже в пакгаузы не приходило вагонов с сахаром, не было его и у москалей, и над Ендрековыми просьбами смеялись. Однако, Ендрек не верил никаким отговоркам и полагал, что если сахару нет сию минуту, то его дадут потом.

— Значит, вечером? — говорил он под конец, фиксируя время для исполнения обещанного. — Хорошо, я приду...

И уж вечером он брался за москаля вплотную.

Являясь в москальский барак, Ендрек делался центром общего внимания, танцовал, показывал свои штуки, пускал дым всеми отверстиями тела, и хотя в таких случаях он не выходил из круга праздно обступивших его людей, однажды случилось, что перчатки и шарф из висевшего на стене пальто ночного конвойного, после визита Ендрека, исчезли.

Были высказаны подозрения на кого угодно и только после всех подумали на Ендрека, потому что уж очень ловко надо было работать, чтобы среди кучи людей, на глазах всех утащить что-нибудь из того места, куда он и не подходил.

Два дня дело оставалось невыясненным, а на третий все видели, как пан Свентек с извинениями принес конвойному и перчатки и шарф. Но, конечно, вещи были разорваны и никуда уже не годились.

4.

Был на заводе Ликана пан Кароль, дряхлый старик, пригодный лишь на то, чтобы стоять на куче накопанной глины и передвигать доски, по которым вкатывались тачки.

Он часами стоял на бугре, тепло одетый, неподвижный, глядел в туман выцветшими синими глазами и вдруг, когда всем казалось, что он стоя уснул, вздыхал под вой ветра громко и жалобно:

— О-хо-хо!..

И голос его, высокий и сбитый, выходил точно не из его глотки, а откуда-то на сажень сбоку.

Вообще жил пан Кароль не то на этом свете, не то уж на каком-то другом, был неразговорчив, так что очень удивил однажды всех присутствовавших, когда, сидя в неподвижности на печке и посапывая трубкой, в то время как какой-то веселый москаль заигрывал с подносчицей девушкой и почти было обнял ее, да она ускользнула, пан Кароль вдруг поднял голову, пошевелил скулами и явственно произнес несколько слов.

— Цо пан муви? — спросил москаль, наклоняясь к нему.

— Тшимай ее... [1]) — повторил пан Кароль, показывая москалю на девушку, и что-то вроде

---

[1]) Хватай ее, хватай!

неодобрения москалю за его нерасторопность слышалось в его голосе. — Тшимай!..

И в его выцветших когда-то синих глазах заиграл далекий огонек, показывавший, что если пан Кароль и многое в жизни позабыл, то от убеждения, что молодым парням надо „тшимать“ молодых девушек, не отказался и на восьмом десятке.

Над этим самым паном Каролем москали устраивали иногда штуки. В полдень жена пана Кароля приносила ему обед. Это была крупная старуха с выпученными от какой-то болезни глазами и негнущимися в коленях ногами, отчего, когда она шла по улице, она походила на изваяние, передвигаемое на колесиках.

Встретив ее под брамкой [1]), один из москалей говорил ей, что пан Кароль ждет ее на печке.

— Чекáе на пáни на гýре...

В то же время другой москаль докладывал пану Каролю, что его кобита [2]) ищет его с обедом внизу.

— Под амбалем...

Пан Кароль тотчас же вставал, — весть об обеде взбадривала его, — и деловито спускался по винтовой лестнице вниз, а его жена в то же время по лестнице с другого боку подымалась на печку.

— Кобита! Кобита! — доносился снизу голос пана Кароля, негодующий и нетерпеливый.

— Я здесь, пане Каролю! Я здесь! — рычала старуха.

---

[1]) Дверка, проход в печку.
[2]) Женщина, жена.

23

Опять с разных сторон появлялись москали с ложными донесениями и устраивали так, что подъем и спуск повторялись, но подымался на этот раз пан Кароль, а опускалась кобита с завязанной в тряпки миской в руках.

— Кобита! Кобита! — доносилось сверху глухо и тоскливо.

— Где же вы, пане Каролю? О, боже...

И так проделывали с ними еще и еще раз, пока наконец оба старика не запутывались окончательно и, отчаявшись найти друг друга, не присаживались отдохнуть. Тогда общими усилиями устраивали так, чтобы они наконец встретились, а встретившись, они сейчас же начинали ссориться и упрекать друг друга.

Но случилось однажды, что пан Кароль после четвертого путешествия опустился где-то около брамки на камень с таким старчески беспомощным вздохом и с такой тоской на лице, что видевшие его в этот момент решили, что таких шуток над стариками они больше не позволят. Среди них был как раз человек с самым большим кулаком, и люди с кулаками поменьше приняли его слова к сведению.

Самый большой кулак поднялся в защиту кобиты пана Кароля еще при одном случае. Но это было уже много позже того времени, когда москали только начинали жить да поживать в бараке у завода. Москали уже не были тогда однообразным скопищем одинаково голодных людей, думавших только о пище. Между ними появились различия, и случалось, например, что во время обеда, при раздаче мясных порций, одному их попадало несколько, а другому ни одной.

— Шерешевский! — выкликал раздатчик, зацепив вилкой кусок мяса.

— Отдай Волчанину, — отвечал Шерешевский и не двигался с места.

— Безбабный! — после нескольких фамилий вызывал раздатчик.

— Отдай Волчанину, — отвечал Безбабный и не двигался с места.

Фамилии тех, кто отдавал кому-то порции, в другие мясные дни были иные, но отдавать надо было неизменно Волчанину, реже Слетинскому, еще реже Ковальчуку.

С порциями хлеба случались такие же перемещения. И все это происходило потому, что Шерешевскому, Безбабному и десятку других нужны были деньги на табак, а Волчанин и Слетинский платили по две железных шустки за порцию. Избыток шусток у них объяснялся тем, что они были людьми особого склада и в то время, как Шерешевский и Безбабный, покончив с дневными делами, залегали на нары или шли на печку к каслику греться и вспоминать родину, справедливо полагая, что они съели уже сегодня свою четверку хлеба и до утра им ждать нечего, Волчанин, Слетинский и Ковальчук раскидывали умом, чтобы что-нибудь приобресть. Один собирал старые кожаные обрезки и переделывал их в самоновейшую обувь, другой открывал задние ходы к кучам каменного угля на станции, третий, проезжая по утрам с фурой кирпича через толчек, скупал по дешовке солдатское барахло, а к сумеркам подзывал тех же Шерешевского и Безбабного и отправлял их в ближайшие деревни, ходить с барахлом по домам.

Давал одному штаны и говорил:

— Принеси двенадцать корон. Что больше — твое.

Давал другому шинель и говорил:

— Принеси двадцать восемь корон. Что больше — твое.

Шерешевский и Безбабный с воодушевлением брались за дело, обходили деревни из дома в дом. Но всегда оказывалось что за штаны давали именно двенадцать корон, а за шинель двадцать восемь и ни шустки больше. И Шерешевский и Безбабный были рады, если им удавалось выторговать впридачу кусок хлеба или набить карманы картошкой.

И так оно повелось во всем и если случалось, что в праздник являлся конвойный и предлагал желающим итти в город строиться, то чистились и строились все те же Волчанин, Слетинский, Ковальчук и еще человек с пяток, а Шерешевский, Безбабный и остальные не строились никогда. Потому что приглашение в город означало захождение всей командой вместе с конвойным в „купплерай", в солдатский дом терпимости, и предполагало наличие у входящего трех корон в кармане. Без них строиться было незачем.

Волчанин считался в трех тысячах, Слетинский в четырехстах, Ковальчук в полутора сотнях, остальные по нисходящей — семьдесять пять, сорок, двадцать пять, десять, ноль.

Ковальчук деньгами не дорожил, потому что легко и добывал их, похищая уголь со станции. Ставил под виадук пустую фуру, оставлял внизу помощника, залезал на пути, сбрасывал вниз угля сколько мог увезти, сгружал в бараке под

нары и давал знать населению, что получена свежая партия угля для продажи. Население являлось с мешками, торговалось и платило деньги. Было правилом в ответ на заявленную москалем цену давать ему ровно половину и затем медленно по шусткам прибавлять.

Забрела однажды в барак и негнущаяся кобита пана Кароля. Назначили ей за ее мешок цену в семь корон. Как и все, кобита стала считать в уме, сколько будет половина от семи, сосчитала с ошибкой и предложила три короны восемьдесят галежей.

Ковальчук, потешаясь, ответил, что уголь ему самому дороже обходится.

— Пани сама ве, як все дрого...

— Мувьте, москаль, цось инше, — сказала кобита жалобно, — не маем таки пенендзы...

Перебирая глыбы угля, Ковальчук наткнулся на матово-черный осколок какой-то породы, в пуд слишним весом и явно негорючий.

— Купуй, пани, цей ковалек...

— Вели це коштуе?

— Як пани не мае пенендзе, нех так визме... Дарую пани...

Кобита с выражениями благодарности и со слезами на выпученных глазах, завернула в дерюгу подарок и двинулась к выходу. Москали смотрели в окно, как она медленно уходила вдаль, как везомое на тележке изваяние, неспособная согнуться даже под пудовой тяжестью.

Ковальчук хохотал и оглядывался на окружающих, ожидая одобрения, но никто как будто не присоединялся к его смеху. Лучшие друзья смотрели сдержанно, опуская глаза, другие гля-

дели с откровенным упреком. Ждали, чем кончится дело. Чувствовали, что не может же остаться так, как оно есть, что старая женщина действительно потащит за несколько верст надрываясь кусок ненужного ей камня, а мордатый Ковальчук будет лежать на нарах и хохотать. Но молчали. Не то чтобы боялись подымать ругань с Ковальчуком, но не было в бараке в обычае делать друг другу замечания.

Кто-то выскочил на порог и закричал старухе вдогонку:

— Выжучь, пани, цей ковалек!.. Он не буде сен палил!.. [1]).

Но пани заворачивала уже за угол и ничего не слышала.

И тут человек с самым большим кулаком наклонился над кучей Ковальчукова угля, отобрал несколько полновесных блестящих кусков и поманил веселого москаля пальцем.

— Беги, догоняй, — сказал он ему кратко и выразительно, заворачивая уголь в тряпку. — Живо...

— Что такое? — опешил Ковальчук, меняя веселое выражение лица на надменное и удивленное. — Новое дело...

— Ну...

И самый большой кулак так внушительно поднялся в воздухе, что Ковальчук как-то очень быстро поднялся с нар и захватив уголь бросился догонять старуху.

Когда через четверть часа он вернулся в барак, запыхавшийся и молчаливый, все казалось

---

[1]) Выбрось пани этот камень! Он не будет гореть.

уже забыли о происшествии. Шла раздача обеда спрос на мясные порции вызвал предложение со стороны тех, кто нуждался в шустках на табак, и случилось, что как раз человек с самым большим кулаком, в обычном состоянии безобидный пленный без гроша за душой, продал свою порцию Ковальчуку. Все шло как оно было заведено.

5.

Так шло время, и после приезда москалей огонь уже три раза обошел печку по кругу и начал четвертый оборот, но москали знали, что он скоро потухнет. Потому что начались холода, глина замерзла, машина со снятыми приводными ремнями в бездействии стояла в заколоченном машинном отделении. И хоть в разных углах завода было достаточно сырой пищи, чтобы закладывать толщу перед наступающим огнем, но уже близок был день, через какие-нибудь три недели, когда в пасть печки оставалось загнать последнюю вагонетку полувок и затем перестать сыпать уголь сверху. И тогда огонь начнет тухнуть. А еще через десяток дней остынет последний слой обожженного кирпича, и тогда, как ни открывай каслики, ниоткуда не потянет теплом.

Тем приятнее сидится на печке теперь, когда под касликами еще бело от ослепительного огня и от остывающих кирпичей идут струи тепла.

Пан Лединский приходит с холоду, не глядя подсовывает под себя пару кирпичей и протягивает руки к теплу.

— Не бенде венцей цьопла... — говорит он раздумчиво и оглядывает компанию. — Не бенде...[1]).

Пан Кароль, дремавший с трубкой, неожиданно подает голос.

— А цо пан мыслил? — спрашивает он своим сбитым, идущим из другого угла, голосом. — Пан мыслил, цо зимы не бенде? Бенде зима... бенде... Юж пшишла[2]).

Пакостный Стасик, мученик контрольных часов, умеющий спать и каждые четверть часа просыпаться, осмотреть каслики, подбросить пыли, спросонок поиграть на гармонике, которая всегда с ним на печке, и заснуть снова — в темноте подбирает на гармонике какой-то мотив, напевает. Голос у него скрипучий, но мотив он находит верно... И если посмотреть на него в этот момент, можно не узнать в разнеженном, размягченном музыкой мальчике того оголтелого Стасика, который поклялся в вечной вражде к москалям и тайком плюет и подбрасывает грязь в москальские котелки...

Мотивы, которые он напевает, все идут от Зоськи, подносчицы-девушки, о которой ее собственная мать совершенно напрасно говорит:

— Моя Зоська глупа як бут...[3]).

Откуда берет свои песни Зоська — неизвестно — с улицы, из „Курьера", но у нее их множество.

На Баторего, чи вы слушите,
Пшед трибуналем Левицкий стал.
Он своей коханне одебрал жича...

---

[1]) Не будет больше тепла! Не будет.

[2]) А что пан думал? Что зимы не будет? Будет зима, будет! Уже пришла.

[3]) Моя Зоська глупа как сапог.

А на другой день она на тот же мотив будет петь куплеты об убийстве в улице Блиха.

Шпацерова́ли... Улица Блиха...
Он есть понурый, а она тиха...
Шпацеровали, ныц не мувили,
Бо богатеми быть нараз хцяли...
Капелюш новый...

Давно было дело, когда судили Левицкого, застрелившего свою любовницу, много лет прошло после происшествия в улице Блиха, где ради новой шляпки было совершено убийство, но Зоська все еще поет их, чередуя с песенками о возлюбленных и братьях, ушедших служить в легионы к Пилсудскому.

Она ему ля-ля-ля-ля...
Она его ля-ля-ля-ля...
До польске́го войска послала...

У выступа под лампочкой сидит Владимир, самый грамотный из москалей, и читает „Реформу". Странный человек этот Владимир. Ободраный, слабый, беспомощный в работе. Товарищи, посмотрев его работу, говорят ему не всегда добродушно:

— Тебя бы, Владимир, женить...

Ни к чему у него нет дара. Он умеет только читать газеты, но это он уже действительно умеет. Отбывал плен в Германии, приспособился читать немецкие газеты, попал в Венгрию — стал разбирать по-мадьярски. А уж после мадьярских газет читать польские газеты, где половина слов понятна, для такого человека были пустяки.

И таким образом случилось, что москаль, несколько месяцев назад не знавший ни одной польской буквы, понемногу приспособился читать „Реформу“, и чтобы достать деньги на эту газету, ему не всегда требовалось продавать Слетинскому свои мясные порции. Случалось, что ее приносили ему уже купленной постоянные обитатели печки — Лединский, Печик или босняк. Приносили для того, чтоб он почитал ее им, потому что сами они не умели читать.

Москаль читал им о разных вещах, и они внимали ему, как внимают старые люди печатным словам, почтительно, покачивая головой. Но в один из январских вечеров он прочел им несколько слов, и его голос прозвучал неуверенно и дрогнул от волнения. В заголовке газеты стояло: „Русский фронт — завишенне брони“, что значило перемирие.

— Завишенне брони! — воскликнул босняк и его совиные босняцкие глаза просветлели. И пан Лединский вскочил с места, хлопнул себя по ляшкам и снова сел, взволнованный. И пан Кароль проснулся и закивал головой. И хоть все скоро успокоились, потому что знали, что такие дела делаются не скоро, казалось, точно какая-то стена разошлась перед ними, и в просвет что-то стало видно.

С другого конца печки к компании подошел москаль, товарищ Владимира, привлеченный шумом и восклицаниями, и спросил, в чем дело. Но когда ему прочли то, что стояло в газете, он не стал веселее.

— Все врут, — сказал он с убеждением. — Обманывают солдат, чтобы шли на фронт...

И он не без превосходства посмотрел на Владимира, который мог верить всяким росказням. И Владимир не нашелся, что ответить.

Да и чего было спорить? Один всему верит, другой не верит ничему, но все равно оба они, как были так и есть, разнесчастные москали, при виде которых бабы на базарах плачут и которые уже съели свою четверку хлеба на сегодня, и им нечего ждать до утра. Остается сидеть на печке и думать о родине. А думы у каждого свои...

И он снова пристраивается к лампе и отыскивает в газете все новые и новые приятные вещи, а москаль, который ничему не верит, отходит в темноту. Его больше привлекает пение, доносящееся снаружи.

Это смена девушек-угольщиц идет с железной дороги через пустыри по домам, и в тишине вечера их пенье слышно отчетливо.

От Кракова дуе вятер,
Дуе вятер, дуе вятер...

Так же с пением они проходили вчера. Но вчера они пели другие слова:

От Кракова еде рыцарь,
Еде рыцарь, еде рыцарь...

Среди них стройная Анка и Зоська с белой полосой зубов на перепачканном лице.

И москаль колеблется. Можно, конечно, сбежать вниз навстречу девушкам, но не хочется выходить на холод. Притом девушки с угля любят обнимать и целовать тех, кто им встретится, хотя бы даже тот и не очень добивался их ласк. Они лю-

бят делать это потому, что после их объятий на лице и на платье остаются черные, долго неотмываемые следы. И от этого бывает много смешных историй. Дома каждую из них ждет котел горячей воды для умыванья и чистое платье, и только тогда из-под слоя угольной пыли выходят на свет веселые лица красавиц.

Проснувшийся Стасик, уловив мотив, пытается повторить его на гармонике. Голос его скрипит. Он обегает с совком каслики и бухается на землю снова.

Москаль — читатель газет прячет газету в карман и спускается через дворик в барак. Он полон светлого чувства, но молчит. Ему мало кто верит, когда он объявляет газетные новости. Однако, раздевшись и устроившись на нарах, не выдерживает и между прочим, как о чем-то маловажном, сообщает соседу, что война как будто уже кончилась.

Сосед слушает, чешется и закрывает глаза.

— Что ж, — говорит он зевая, — все может быть... Пора... пора...

6.

Самые холода начались в феврале, и уже нечего стало работать на печке. Москали ходили теперь за несколько верст на прокладку рельсового пути от карьера.

Пан Печик утешался тем, что дни все-таки прибывают.

Самый грамотный москаль также утешался тем, что дни прибывают. С тех пор как он попал в плен, каждую зиму ему казалось, будто он за-

сыпает, что зимой ему нечего желать, а нужно днем двигаться и делать что-нибудь, чтобы не умереть, а ночью думать о том, что будет весной, когда он отправится в побег. Но и мечтая, он никогда не забывал, что все это относится к временам, которые еще будут когда-то, а сейчас ему надо молчать и покоряться...

Но когда дни становились длиннее, а закаты ясными и долгими, москаль начинал чувствовать, что его время приближается. Это входило в него вместе с чириканьем воробьев в тот день, когда солнце вдруг пригревало, и начиналась оттепель, он убеждался в этом, увязая деревянными подошвами башмаков в грязи размытых полей. И очень скоро наступала пора, когда ему становилось уже невмоготу ждать, и он назначал себе день для решительных действий. Маленькая карта, вся Австрия на восьмушке бумаги, была теперь с ним неразлучно, и ее он разглядывал, когда оставался один, потому что это была его тайна, о которой он никогда ни намеком не говорил никому.

Каждую весну происходили с ним такие превращения. Но в эту весну, кроме того, случались вещи, непохожие ни на что, к чему он привык за четыре года плена. Случались поблизости, задевали москалей краешком, и хоть крепкие были люди москали, никаким газетам не верили, однако и они призадумались. Свое будущее представляли они себе примерно в таком порядке. Будет когда-то заключен настоящий мир, и поедут они домой эшелонами, на сто солдат один прапорщик, а на границе будет стоять человек со списком, спросит как фамилия и какого полка, посмотрит в список, и кто честно попал в плен, пропустит, чтобы

на месте явился воинскому начальнику, а перебежчиков, всех унтер-офицеров, фельдфебелей и повыше — тут же к суду. А потом поедут они скорыми поездами по России и в Сибирь, где хлеб стоит копейка фунт, к женам своим, все четыре года беспорочно их ожидавшим.

И вдруг оказывается, что мир уже заключен. Но он не то есть, не то нет. В газете фотография — русские представители в Брест-Литовске, какие-то штатские люди в пиджаках. Что же это такое? И кое-кто из пленных австрияков вернулся домой из России и говорит, что действительно царя уже в России нет, и Киевская губерния уже не Россия, а Украина... До Сибири, говорят, хоть год скачи, не доскачешь. А что касается хлеба, то он тоже стоит много больше чем копейку...

А тут как раз является в барак штабной писарь для составления списка москалей и уже при входе командует — русским стать налево, а украинцам направо. И так как все говорят, что они русские, писарь долго и путанно разбивает их по губерниям и говорит, что те, кто из Полтавской, Харьковской и тому подобных губерний, как раз и называются украинцами.

Загадочно, непонятно — так непонятно, что лучше и не думать об этом, пока не узнаешь точно.

В городе изо дня в день события. Поехал как-то Ковальчук к виадуку за „получением" новой партии угля, не подпустили к мосту часовые. На путях стрельба.

— В чем дело?

— Легионы бьются с пруссами...

И опять день-два тихо. А на третий какой-то человек, проходя вблизи барака мимо казенной

табачной трафики с австрийским гербом на желтом поле, стал что-то с вывеской делать. Он попробовал достать ее с земли рукой — не достал, зашел в лавочку, вынес стул и взобравшись на стул сорвал вывеску с петель. Стул он обратно внес в лавочку, а сам пошел дальше, оставив вывеску лежать на земле.

А вечером в тот же день Янек с месилки с одушевлением рассказывал на печи, как он ходил по городу с толпой людей и что они пели, и как они устроили, чтобы свалить двуглавого орла с дворца наместника. И его синие мальчишеские глаза блестели.

Пан Печик слушал раздумчиво.

— Иезус-Марья! С палацу штатгальтера?

А потом, разошедшись, неожиданно вспомнил что-то из своей молодости, когда он тоже ходил по городу, когда Дашинский устраивал забастовки, и как Дашинского полиция не могла арестовать, потому что он был депутат, и он ходил с завода на завод и пан Печик ходил вместе с ним.

— И мы пели тогда... — продолжал он с помолодевшим лицом, стараясь вспомнить, что он пел, когда ходил с Дашинским, и не мог вспомнить ни слов, ни мотива.

— Я не помню, что мы пели тогда, — сказал он беспомощно, — но это было что-то такое хорошее...

А еще через день стало известно, что будет „генеральный штрайк“ — всеобщая забастовка на половину дня. И хоть на поверку вышло, что бастовали только поляки и только для того, чтобы начальство не отдало Украине бывшей русской Холмской губернии, а во главе забастовщиков

стояли ксендзы и чиновники, — москали с удовольствием следили, как в этот день пан Рыба, чисто одетый, прошел мимо завода и, не заворачивая в ворота, пошел в город, как туда же пошли и Лединский, и Печик, и все другие. И все были чистенькие и торжественные. И ни одного полицейского не было в этот день на улицах.

На следующий день все работали, как обыкновенно, и полицейские патрули ходили по улицам, и желтая вывеска снова висела над трафикой, хоть и с залепленным бумагой орлом. И все было бы, как всегда, если б не маленькое происшествие на заводе Ликана, для расследования которого туда являлся и полицейский инспектор и военное начальство.

Как раз в день манифестации, когда все поляки ушли на площадь — москали решили, что и им тоже нечего работать, а надо постирать белье. У каждого была только одна смена белья, почерневшая, от частого кипяченья, с приварившейся неотмываемой грязью. А чтобы приготовить щелок, москали поставили на каслик большой металлический наглухо закупоривающийся бак, в котором обыкновенно им из города возили пищу, и поручили самому грамотному москалю смотреть, пока вода закипит.

Самый грамотный москаль был занят чтением новостей. Он упустил из виду, что если оставить воду кипеть в наглухо закупоренном сосуде, может произойти несчастье. Он сидел в стороне и читал газету и не замечал, что две фигуры в это время подкрадываются к клокотавшему баку, чтобы устроить какую-то штуку. Это были пакостный Стасик, оставшийся на печке за пана Печика,

и дурачек Ендрек. Они крались потихоньку, оглядываясь на москаля, а Стасик уже держал в руках кучу грязи, чтобы швырнуть ее в бак, и показывал Ендреку, где надо отвернуть, чтобы крышка открылась...

Если б москаль, начитавшись газеты, вздумал бы сам отвернуть крышку бака, то, конечно, паром ошпарило бы его. Но он читал и ничего не замечал, а с крышкой в это время возились Ендрек и Стасик. И когда остался последний оборот винта, крышка с шумом откинулась, и вырвавшимся паром их ошпарило. Падая, они опрокинули на землю весь бак, и кипяток полился на них же.

Когда на их вопли сбежался народ, увидели, что Стасик с криками и стонами бегает без толку по печке, отряхиваясь и сдавливая грудь руками, а Ендрек лежит без движения лицом вниз и молчит.

К вечеру Ендрек умер. Стасика свезли в больницу. О происшествии было написано с десяток протоколов, москалей каждый раз выстраивали, опрашивая о подробностях. Искали злого умысла.

Стасик вернулся на завод только через полтора месяца, исхудалый, бледный, притихший. Гонял вагонетки и не ходил на печку.

— Ну как, Стасик, — спрашивали его москали, заметив происшедшую в нем перемену, — раскаялся?

Москаля, читавшего газеты, в это время уже не было на заводе. Недели за три перед этим он пустился в свое давнозадуманное путешествие. Конвойный как-то сказал команде, что пришел о нем запрос из Лемберга, где его словили, но так как о всех беглых москалях говорилось, что их словили в Лемберге, этому мало кто верил.

ПРОИСШЕСТВИЕ С БОЧКОЙ

Дело происходило в маленькой крепостце на немецко-австрийской границе в Силезии. Крепость давно утратила боевое значение, и во время войны ее приспособили для содержания пленных. Осенью шестнадцатого года на одном из ее фортов сидело десятка три пленных офицеров, столько же солдат и несколько вольноопределяющихся.

Комендант форта, пожилой, несколько раз раненый артиллерийский „хауптман", был не злой человек и, выстраивая своих заключенных дважды в день на поверку, по трем категориям в отдельности, присматривался к ним скорее с интересом и дружелюбием, чем с высокомерием и официальностью. Простоять четверть часа утром и четверть часа вечером на „аппеле" и быть при этом одетыми в форму—это все, чего он требовал от пленных офицеров, предоставляя им остальные двадцать три с половиной часа проводить в постели или за картами и ругать немецкий паек и немецкие порядки как им заблагорассудится.

Солдат он сверх того донимал требованиями внешней опрятности—вплоть до сапог, которые должны были блестеть, как зеркало. Они же отвечали и за грязные сапоги офицеров, ибо часть

солдат выполняла для них этого рода работы. Кое-кто из солдат ездил с тачкой в город за продуктами, другие чистили картошку на кухне. В остальном их не очень беспокоили работой и кормили еще хуже, чем офицеров.

Все пленные, жившие на форту, и офицеры, и солдаты, попали туда не случайно. Их присылали на форт одного за другим из разных лагерей для лечения или исправления, и в списке против фамилии новоприбывшего фортовой писарь обязательно делал карандашиком одну из трех пометок: „L“ что означало Luetiker, или „A“, — Alkoholiker, или „G. S.“ — Gross Skandal. В последнюю группу входили виновники разных происшествий в лагерях, делавшиеся там неудобными. Сюда же относились пленные, пытавшиеся бежать, снова пойманные и присланные на форт, как в более надежное место.

Люэтиков здесь лечили последними верными средствами, алкоголики переставали пить по той причине, что все спиртное, даже одеколон и хинная вода, решительно не допускались на форт. Что касается беглых и иных беспокойных людей, то они быстро успокаивались здесь, потому что какой смысл было затевать истории и строить планы, сидя в крепости, окруженной рвом в шесть человеческих ростов глубиной, с отвесными стенами, с единственным перекидным мостом у караулки и с часовыми через каждые двадцать пять шагов? Самые неугомонные беглецы, попав на форт, считали, что, пока они находятся в этой могиле, им лучше не думать ни о каком бегстве.

Впоследствии один юный сапер, явившийся на форт для отбытия штрафа, разрушил его могиль-

ную репутацию, доказав, что для успеха побега там как раз было больше шансов, чем где бы то ни было. Он вспомнил типы крепостей, описанные в учебниках, и догадался, что отверстия в отвесной стене на противоположной стороне рва означают, что там идет подземная контрэскарповая галлерея обычного старинного типа, что такой же подземный ход тянется вдоль рва и с внутренней стороны, что между этими двумя галлереями есть сообщение подо рвом, что от контрэскарпа должен быть еще длинный ход вбок к старому пороховому колодцу, что если прокопаться в этом месте на поверхность, можно оказаться далеко позади последнего часового, и главное — что попасть в эти галлереи можно разобрав заделанный люк в самой нижней камере, в той самой, в которой и жил этот изобретательный молодой человек, для чего требовалось только на некоторое время отодвинуть его кровать.

Все эти догадки блестяще подтвердились впоследствии, когда началось большое дело с подкопом, через который бежало с десяток человек. Но все это произошло много позже того времени, к которому относится описываемая нами история. Юный сапер еще не появлялся на форту, секрет подземных ходов был неизвестен, и люди, замышлявшие побег, обойдя форт по валам и измерив взглядом глубину рва и количество часовых, решали, что не может быть и речи о бегстве через ров и что надо искать других способов. Они проникались интересом к выгребным ямам, люк которых тоже куда-то вел, подделывали ключи к дверям, за которыми могло что-нибудь оказаться, изучали до мелочей привычки часовых за рвом,

их смены, приходы и уходы, испытывали, насколько действительно их бодрствование и насколько крепок их сон. Считали, что все это должно будет когда-нибудь им пригодиться.

Камеры пленных выходили окнами в ров. Они были ниже поверхности земли, и если смотреть из верхней камеры, корни деревьев по ту сторону рва приходились на уровне глаз наблюдателя, что с непривычки казалось странным. Жизнь по ту сторону рва, пенье птиц в листве, трава и цветы, и мотыльки над цветами представлялись пленным необыкновенными. Такая же трава и такие же цветы росли и на валах на форту, и мотыльки так же летали здесь над цветами, но пленные не смотрели на них. Все, что было на форту, это все находилось как бы в плену и было ненастоящее. Им хотелось цветов с той стороны рва.

В камерах столы и кровати стояли в углублениях прежних бойниц. Своды низкого потолка, сплюснутого в середине, сливались с дугами арок, образуя сложные переходы. Можно было часами лежать на постели и смотреть вверх, стараясь уловить схему пересечения дуг, и все-таки ничего не понять в них. В толстых красных стенах во многих местах были проделаны узкие косые отверстия, через которые в свое время выводился пороховой дым. В некоторых местах сохранились массивные крюки для пушек, висевших тут прежде, вероятно для обстрела неприятеля, атакующего ров. Существовало предание, что на одном из этих крюков повесился когда-то французский майор, пленник 1870 года. Пленные охотно верили этому преданию и думали при этом о своей собственной судьбе. Все они полагали,

что в их положении самоубийство или сумасшествие будут естественным концом, все считали себя страдальцами и боялись „не выдержать“.

Времяпрепровождение пленных было так же различно, как различны были сами люди. Были такие, для которых самым интересным занятием было чтение классиков — Кальдерона и Софокла в подлинниках — или игра в шахматы с воображаемым противником. Другие изо дня в день пробавлялись игрой в преферанс и разговорами о женщинах, третьи совмещали это же занятие с зубрением немецких и французских вокабул по самоучителям. Были любители часами ходить по валам, погрузившись в задумчивость и не обращая внимания на остальное. А кое-кто от безделья превратился в настоящих богадельных сидельцев — любителей сидеть на верхних нарах, поплевывая вниз, все замечать и на все отзываться. Ежедневная раздача хлеба была кульминационным пунктом их дня, тогда они оживлялись и играли при раздаче главную роль, после чего снова увядали и забирались на нары.

Планы побега строились каждым по его вкусу. Один представлял себе, как он в дождливую безлунную ночь полезет на-ура через ров и скроется в кустах, другой в мечтах подкупал часовых, третий считал более надежным запастись платьем немецкого солдата и предъявить в воротах пропуск с поддельной комендантской подписью.

Один считал недопустимым во время побега посягать на чью-нибудь собственность, хотя бы голод мучил его и дело шло лишь о паре картофелин с чужого поля. Другой легко разрешал

себе эту вольность, у третьего похищения входили в порядок дня и составляли даже наиболее привлекательную сторону всего предприятия. Программа некоторых не исключала в случае необходимости и убийства.

Было принято молчать о своих планах. Люди, которые легко разбалтывали то, что они придумывали, считались несерьезными, и над ними подсмеивались, несмотря на их пыл и их очевидную искренность. Обыкновенно в этом пункте люди таились даже от друзей и, если в камере заходил общий разговор о побегах, отмалчивались и принимали безучастный вид.

Планы некоторых были наивны. Были два молодых человека, которым казалось, что им никогда не вырваться с форта, но что побег может им удаться, если их переведут в какое-нибудь более легкое место, например в городской госпиталь. Для этого требовалось серьезно заболеть, и оба сознательно и всеми возможными способами губили свое здоровье, чтобы привести себя в пригодное для госпиталя состояние.

Один добивался этого голодом и с упорством каждый день бросал в глубину отхожего места свою порцию хлеба, потому что это вызвало бы удивление и вопросы, если б он вздумал отдавать хлеб кому-нибудь из товарищей. Хлеб был драгоценностью, каждый ел свою порцию сам и не было в обычае ни давать его, ни продавать друг другу.

За обедом он, как и все, брал свою тарелку, но обедал только для виду, тщательно обходя все, что могло хоть сколько-нибудь заполнить желудок. Он приучил крепостного пса сидеть около себя за

обедом и под шумок сплавлял ему все самое существенное, а сам хлебал жижу. Или ел испорченную прокисшую пищу, оставшуюся от третьего дня, в надежде, что это вызовет у него остроželудочный приступ. Это походило на начало какого-то дела, он с увлечением каждый день проделывал свои хитрости и почти не чувствовал голода, и хотя не заболел, но к концу недели выглядел очень печально.

Людское сострадание погубило его. Один из его товарищей по камере, получивший посылку из дому и движимый лучшими чувствами, решил, что молодого человека надо накормить. Пустив в дело половину посылки, он состряпал яичницу из консерва на настоящем малороссийском сале и не пожалел ни сахару к кофе, ни сухарей. Когда юный беглец понял, что это было сделано для него, он в ужасе отказался, но ни с чьей точки зрения в его отказах не могло быть ни смысла, ни правдоподобия. Его упорство приняли за проявление застенчивости и без церемоний потащили к столу. Он проглотил первый кусок с мыслью, что может быть дело этим и обойдется, но в дальнейшем челюсти его стали работать сами, и ему оставалось только сдерживать себя, чтобы вести себя пристойно и не обнаруживать чрезмерной жадности... Он встал из-за стола с мыслью, что его дело пропало. На следующий день он никуда не выбрасывал своей порции хлеба и за обедом гнал от себя собаку, очень удивленную такой переменой обращения.

Его товарищ в это же время делал попытки простудиться. Начав издалека, он стал проповедывать разумность тех, кто закаляет себя холодом,

и очень скоро приобрел репутацию человека, который не может прожить и дня, не облившись холодной водой по крайней мере дважды.

Но никто не догадывался, что он принимает души не снимая белья, а потом, дав воде стечь и накинув сверху шинель, идет через двор в камеры и где только можно распахивается и подставляет себя ветру. В длинном коридоре, ведущем со двора в камеры, в узкой дыре с понижающимся полом и вечным сквозняком, он двигался с совершенно непонятной медленностью, хотя сострадательный человек, тот самый, который накормил его товарища, предупреждал его об опасности хождений в этом коридоре и даже предлагал ссудить его парой теплого белья.

Однажды выпал снег, и человек желавший простудиться, обрадовался. Он намял руками несколько снежков и набил ими пазуху. Он обтягивал на себе рубашку, чтобы комки плотнее прижимались к телу, и думал, что теперь его дело верное.

История кончилась не так, как он хотел. Он действительно через некоторое время стал чувствовать колотье в груди, и его ноги стали ныть и плохо гнуться в суставах, а сам он стал сонливым и вялым. Этого было мало, чтобы быть отправленным в госпиталь, но вполне достаточно, чтобы чувствовать себя инвалидом, которому нечего и думать о широких планах, а впору только поддерживать в себе остатки здоровья.

Этот человек полюбил впоследствии сидеть около железной печки, подбрасывать в нее уголь и, вдыхая легкий дымок, просачивавшийся в щели, мечтательно говорить, что от печки пахнет желез-

ной дорогой. Ему представлялось в такие минуты, что он едет куда-то. Этим он удовлетворялся.

Впрочем, когда осень и дожди установились прочно, всем другим также стало казаться, что это неподходящее время для побегов, что надо переждать зиму. Летняя суетливость исчезла мало-по-малу с большинства лиц и сменилась спокойным выражением людей, приготовившихся долго ждать.

И как раз тогда, когда это настроение сделалось всеобщим, неожиданно стало известно, что два молодых человека, Кнорр и Пахомов, собираются бежать, что для побега назначен один из ближайших дней и что за ворота они собираются выехать в бочке, в которой на форт возили воду.

Кнорр был прапорщик с сомнительной репутацией. Говорили, что из лагеря его убрали за тайную продажу вина товарищам, другие полагали, что он просто немецкий шпион, помещенный среди пленных, но никто ничего не мог сказать о нем наверное.

Кое-кто давал понять, что при других обстоятельствах он призадумался бы подавать руку Кнорру, но так как плен был не такое место, где можно быть особенно разборчивым на знакомства, а Кнорр был денежный человек, игрок и кутила, то с ним охотно водили компанию.

С картами у Кнорра тоже было не совсем чисто. Он много выигрывал и не меньше того проигрывал, но сам говорил, что проигрывает только до поры до времени. В его расчеты входила вся сумма денег, бывшая на форту в игре, каждый игрок был им оценен, и тысяча марок, проигранных постоянному партнеру, интересовали

его меньше, чем пятьдесят пфеннигов, сданных случайному мазчику, который покупал на них сигарет и выводил их из игры.

Повидимому он готовился к какому-то решительному дню. Он испортил дело, чересчур разоткровенничавшись однажды и предложив показать фокус, при чем брался называть каждую выходящую из колоды карту. Он стасовал талию в несколько колод и стал сдавать, и каждая третья карта у него или оказывалась девяткой или вместе со следующей давала девять. А так как играли больше в железную дорогу, то такое обилие девяток показалось его партнерам опасным. Некоторые из них, те кто остался ему должен по прежней игре, воспользовались этим случаем, чтобы не платить ему долга.

При всем том Кнорр был широкий и рисковой человек. Он доказал это впоследствии, став героем одной вылазки, изумительной по наглости и удачливости. Но и тогда отношение к нему мало изменилось, и к его характеристике сомнительного офицера и подозрительного игрока прибавлялось, что, несмотря на все это, ему нельзя отказать в известной храбрости.

Он очень изумил всех на самый конец, когда, попав после одного дела под длительный арест и подвергшись конфискации всех наличных денег, прислал на форт официальное заявление о взыскании через комендатуру денег со всех, кто ему был что-либо должен на форту. Это был длинный список, при чем даже такие долги как марка или две тоже не были забыты.

Что касается Пахомова, вольноопределяющегося, то это был еще очень молодой человек,

склонный к позе и лишним словам. Впоследствии, когда была начата работа с подкопом, он оказался также великолепным взломщиком и обнаружил смелость и выносливость. Он вскрыл тогда две массивные двери, запиравшие с обеих сторон подземный ход подо рвом, работая в течение многих часов и в полном одиночестве там, где на другой день несколько взрослых людей, идя об руку, испытывали жуть и желание бежать назад.

Но даже и в этот свой високосный день он не избег позы и, выбравшись через люк в камеру, возвестил об удаче и грядущей свободе в несколько театральном тоне, прозвенев над головой своими отмычками, имитируя арлекина с его бубенчиками из какой-то сцены. Даже и тогда его очевидные заслуги перед компанией не рассеяли впечатления, что в общем это еще молодой, очень молодой человек.

Бочка, в которой Кнорр и Пахомов собирались бежать, появилась на форту несколько дней назад и еще через несколько дней должна была исчезнуть.

Обыкновенно вода на форт подавалась водокачкой, но иногда машина портилась и на время ремонта немецкие саперы возили воду в огромной железной цистерне. Это была тяжелая вещь, четыре лошади едва вкатывали ее по утрам на форт. Днем из нее брали воду, а вечером пустую бочку пленные солдаты на руках выкатывали вниз за ворота и ставили около караулки. Там она стояла всю ночь, пока саперы утром не приезжали за ней с лошадьми.

Таким образом человек, которому бы вздумалось залезть в бочку и дать себя вывезти за ворота,

имел в своем распоряжении достаточно времени, чтобы выбрать подходящий момент, вылезти из бочки и к рассвету быть за много километров от форта.

Товарищи относились к побегу различно.

— Это не серьезно, — сказал один обстоятельный человек, бывавший уже в бегах. — Такие вещи не делаются наобум. Они думают, что их дело сделано, если им удастся, не наделавши шума, вылезти из бочки. О дальнейшем они думают мало. На самом деле трудности только тогда и начнутся.

И он заговорил о том, сколько выдержки и выносливости требуется от человека, чтобы пересечь огромную страну, идя только ночью, по компасу, без дороги, а днем прячась где придется, хотя бы это была мусорная яма или сточная труба, и больше всего на свете избегая попасться на глаза людям, потому что встреча с кем бы то ни было, даже с ребенком, означала преследование и арест. Только люди с неслабеющим духом и закаленным телом, предусмотревшие все лишения и соблазны, могут выдержать такую жизнь долго и добиться успеха, и для этого мало очутиться за воротами крепости. За этим первым шагом надо сделать еще десятки тысяч шагов.

Сам он готовился к новому побегу давно и обстоятельно. Еще зимой из разных кусков старого форменного платья он собственноручно сшил костюм, по виду приближающийся к штатскому. Он работал урывками и таясь ото всех, и окончил шитье только через два месяца. Еще месяц ушел у него на перечерчиванье карты, что было делом еще более таинственным и требовало миллиона разных хитростей, чтобы обеспечить себе уеди-

нение и безопасность от чужого глаза. Немец, застав его за этим занятием, отобрал бы у него карту вместе с оригиналом, единственным на форту, а свой брат пленный, заметив у него карту, может быть стал бы посмеиваться над человеком, который как будто что-то замышляет. Ему же хотелось, чтоб о нем думали именно то, чем он хотел казаться — лойяльным выдержанным человеком, отбывающим плен без излишней легкости, но и без трагедий и каких-либо сумбурных фантазий.

Языки давались ему с трудом, но он с упорством долбил немецкую грамматику, потому что это должно было ему пригодиться. С весны его приготовления стали еще более определенными. Он несколько раз по-новому переложил вещи в своем походном ранце, приделал несколько новых отделений, исчерпывающим образом обдумал каждый пустяк.

И между тем сплошь и рядом ему приходили в голову все новые догадки о подробностях той жизни, какую ему придется вести в побеге и которую надо предусмотреть во всех мелочах. Мешок с сухарями увеличивался с каждым днем, потому что три четверти получаемого им ежедневно ломтя хлеба он откладывал на сухари. Это имело для него еще ту хорошую сторону, что приучало его к будущим лишениям. Минимум питания и максимум утомления — вот на чем он хотел закалить себя, и для этого часами играл в теннис и в городки, пока пустота в желудке не доводила его до изнеможения.

Его медлительный проверенный метод был во всем противоположен нахрапному проекту Кнорра,

и, конечно, он не мог находить его серьезным. Но он высказывал свое мнение в своей скрытной манере, как беспристрастный вдумчивый человек, которого такие вещи мало интересуют, потому что сам он никуда не собирается бежать.

— Еще одна бессмысленная затея, — с раздражением сказал о проекте Кнорра другой пленный. — Если б до сих пор хоть один побег удался, были бы понятны все эти бесконечные попытки. Но неужели еще не ясно, что это дело никогда нельзя довести до конца... Безразлично, где их поймают — сейчас же за воротами или в десяти верстах—но их поймают, и дело кончится только репрессиями для остальных. Комендант уже говорил, что из-за побега одного запретят всем гулять по валам... Было бы лучше, если б каждый сидел, где он сидит...

Он говорил о побегах с тем большим раздражением, что прежде сам питал такие же надежды. Да и теперь, называя побег бессмыслицей, он в сущности возражал кому-то внутри себя, кто говорил, что побег как-никак хорошее дело.

Его девизом было терпеть и держаться. Война должна когда-нибудь кончиться, и он хотел выйти из плена таким, каким вошел туда. Каждый день, разглядывая себя в зеркало, он проводил рукой по волосам и прощупывал десны сквозь кожу и с удовлетворением замечал, что шевелюра его не редеет, а зубы все еще крепко сидят в деснах. „Надо держаться! — говорил он своему отражению. — Держаться до конца“.

И словно отвечая на мысль, постоянно приходившую ему в голову, добавлял:

— Бежать бессмысленно...

Хинная вода для волос, паста и полосканья для зубов, холодные обливания и гимнастика для тела, и главное, добавочные продукты, заказанные во всех комитетах мира, должны были поддерживать его в бодром состоянии вплоть до того момента, когда придет время выходить. И он хотел, чтоб и остальные думали так же и не предпринимали никаких глупых шагов, от которых не могло произойти ничего, кроме беспокойства.

— Это комедия! — сказал о намерениях Кнорра третий. — Ему просто нужна отметка немецких властей о попытке к побегу, чтобы предъявить ее начальству, когда вернется в Россию...

Этот человек попал в плен при сомнительных обстоятельствах и ждал суда над собой по возвращении в Россию. Он сам был не прочь иметь отметку о покушении на побег в своем кондуите и подозревал в этом желании остальных.

Общее мнение было, что затея Кнорра—мальчишество, водевиль с переодеваниями, чепуха, и однако, когда первая часть водевиля стала действительностью и бочка с Кнорром и Пахомовым внутри на руках нижних чинов была благополучно спущена за ворота и поставлена не слишком близко от караулки, настроение изменилось скорее в пользу беглецов.

До темноты оставалось часа три. Вечер был теплый и солнечный и ничем не отличался от других вечеров, как они всегда проходили на форту. Как всегда, в углу отведенном для тенниса, шумели и носились, отбивая мячи, люди, которых все привыкли видеть здесь в это время, и как всегда люди, занимавшиеся чтением книг, сидели

за книгами, а любители длительных прогулок по валам ходили в задумчивости по валам.

Но мысль, что за воротами двое товарищей находятся, быть может, накануне того, что каждый в глубине души считал величайшим счастьем, была в голове у всех, затрагивая даже равнодушных. Конечно, беглецы еще никуда не убежали, но они были за воротами.

— Я готов допустить удачу, — в раздумьи сказал человек, считавший, что было бы лучше, если б каждый сидел там, где сидит. — Такие вещи удаются или сналета, или совсем не удаются...

Он был в приподнятом настроении, потому что самой малой тени успеха было достаточно, чтобы он забыл свой скептицизм и разочарования. Сейчас он охотно отдал бы все свои полоскания, трапеции и посылки, чтобы поменяться местами с Кнорром.

— Нельзя судить по началу, — сдержанно заметил другой — тот, что с зимы готовился к побегу и изо дня в день приучал себя к лишениям и выносливости. — Если им еще удастся пройти тысячу километров до румынской границы, тогда можно будет говорить об успехе. Мало сказать — пройти тысячу километров. Их надо проползти...

И он снова заговорил о трудностях пути и о том, как легко при этом ослабеть духом и дать себя арестовать лишь для того, чтобы не терпеть лишений. И несмотря на убедительность привычных доводов, он чувствовал себя выбитым из колеи.

В его ранце был предусмотрен каждый пустяк, ежедневная порция из запаса сухарей и общий вес мешка высчитаны с точностью, тело закалено и дух бодрее, чем когда-нибудь, и все-таки он

сидел на форту, ожидая случая, который неизвестно когда представится, а люди вчерашнего дня, не имевшие сотой доли его опытности, находились за воротами и ждали только темноты. И он думал, что было бы, если б не Кнорр, а он сам сидел в бочке, снаряженный, ко всему готовый, предусмотревший тысячи случайностей и мелочей.

— Во всяком случае они недурно проведут время,—сказал третий, алкоголик, в представлении которого побег был просто лихой вылазкой в какой-нибудь город поблизости, до первого притона, где можно достать вина и женщин, а потом дать себя арестовать вызванным жандармам. Он сам думал так и не очень верил, когда ему сказали, что намерения Кнорра и Пахомова идут много дальше.

Молодой человек, желавший простудиться, сидел на солнце в раскидном кресле, с ногами выше головы, держал книгу на коленях, но не читал ее. Его лицо было красно, и он, если б даже хотел, не мог бы скрыть, что им владеют мечты. У него была мать дома, но в мечтах он ехал не к ней. Он представлял себя снова на фронте, в опасных и тяжелых положениях, из которых выходил с достоинством, если не как герой. Ему не в чем было особенно упрекать себя за то, что он попал в плен, но ему казалось, что другие думают о нем плохо, и он хотел им что-то доказать.

Он был как ребенок. Он совсем забыл ощущения, действительно испытанные им, когда он не в мечтах, а на деле был на фронте, похожие на ощущения мыши в мышеловке, но хорошо помнил то время, когда он только собирался ехать

на фронт и когда все кругом он видел сквозь светлый туман близкой ожидавшей его смерти, когда его чувства были обострены, он понимал тысячи вещей, о которых не догадывался раньше и забыл потом, когда женщины любили его и за несколько недель приготовлений к фронту у него было больше любовниц, чем за всю предыдущую жизнь...

Теперь он начинал догадываться, как глупо поступил он, надолго расстроив свое здоровье, тогда как всегда мог подвернуться случай, вроде Кнорра с бочкой...

Белокурый юноша, земляк Кнорра, с которым они вместе пели иногда свои особенные песни, несколько раз в волнении взбегал на вал и смотрел в направлении бочки. Это была неосторожность, потому что такой необычный интерес к бочке мог бы возбудить внимание часовых. Пожилой офицер, проходивший мимо, позвал его вниз и в резких выражениях указал ему на его промах. Оказалось, что даже этот спокойный человек, всегда подтрунивавший над попытками бежать и злорадствовавший при неудачах, беспокоится за успех беглецов.

И тем не менее в тот же самый вечер еще прежде чем окончательно стемнело, Кнорр и Пахомов снова вернулись в камеру для того, чтобы, переодевшись в форменное платье, отправиться под арест. Люди из бюро и собственные неуловимые шпионы из пленных не дремали и во-время известили караул.

Караульный начальник, прикрывая шпионов, до поры до времени делал вид, что ничего не знает. Как всегда, в караулке, сменившиеся часовые.

потные, в расстегнутых мундирах, безмятежно предавались игре в баранью голову, и караульный начальник щелкал картами по столу и отпускал прибаутки громче всех. Но пришло время, когда он вынул часы и, посмотрев на солнце, решил, что с этим делом пора кончить. Он бросил карты на стол, подошел к бочке, постучал в стенку и крикнул:

— Russen, aus!

Оставалось вылезти и проследовать в канцелярию для прочтения протокола о происшествии, повидимому, составленного заранее. Там были только пустые места для фамилий и рядом стояло: в числе трех человек. Это была ошибка шпиона, преувеличившего размеры события.

Отношение пленных к происшествию было различным.

— Этого и следовало ожидать, — сказал человек, подготовлявшийся к побегу медлительными и верными способами. — Мальчишество думать, что все дело в том, чтобы выбраться за ворота...

— Интересно знать, кто тут на форту занимается доносами? — сказал алкоголик. — Пока эта сволочь живет с нами, никому не удастся придумать ничего путного...

Пленный, полагавший, что каждому надо сидеть там, где он сидит, был в своем обычном настроении. Неудача Кнорра лишний раз доказала, что бежать бессмысленно.

— Что же получилось? — с раздражением говорил он кому-то, кто утверждал обратное, но больше всего собеседнику внутри себя. — Из-за того, что два балбеса захотели устроить себе пикник, нам всем теперь нельзя будет ходить по валам...

— Кто собственно этот Кнорр? — спросил еще один. — Знает его кто-нибудь?

И тут кстати припомнили фокус Кнорра с девятками, что он нечист в игре, быть может не офицер совсем.

На этом дело бы и кончилось, если б не случилось одного осложнения.

Пахомов, уходя под арест, успел шепнуть одному приятелю несколько слов насчет бочки, в которой они сидели, что ее надо хорошенько прополоскать прежде чем наливать водой, что об этом надо с самого утра заявить коменданту.

— Почему? — спросил приятель.

Пахомов наспех объяснил, почему и, объясняя, имел сконфуженный вид.

Он не успел рассказать подробностей, но они моментально стали ясны всем.

— Этого еще не хватало, — сказал один с величайшим раздражением. — В бочку, из которой все пьют воду, напустить чорт знает чего!..

— Ничего удивительного! — сказал другой со смехом. — Молодые люди накупили на дорогу шоколаду, сидели в бочке три часа... Им некуда было деваться...

— И заметьте, — прибавил третий, — при всей этой чепухе они считают себя героями. Вот что меня злит больше всего...

Человек, желавший в своем будущем побеге избежать всякой чепухи и всяких гибельных неожиданностей, давно все обдумавший и подготовивший, был затронут происшествием с другой стороны.

— Вся эта история показывает только, — сказал он, — как много мелочей надо предусмотреть,

чтобы поставить дело на правильный путь. Ни вы, ни я, ни они сами совершенно не предполагали, что может случиться что-нибудь подобное... Между тем жизнь не спрашивает нас и идет по-своему...

— Теперь представьте, — перебил его еще один, — что было бы, если б побег удался. Они бы исчезли. Никто не сказал бы нам, что бочка загажена, и мы пили бы мутную воду, даже не зная, отчего это происходит... Разве это не подлость? Разве за такие штуки не следует бить морду?..

И многое другое в этом же роде.

ПЛЕННЫЙ СНЕЛЬ

1.

Человек, к которому пленного Снеля отдали в работники, назывался Карл Фурман. Жил он в деревне Комиц, в округе Нейсе в Верхней Силезии. Другие пленные, товарищи Снеля, работавшие в Комице, завидовали ему и говорили, что во всей деревне не найти хозяина лучше и справедливее Фурмана. Сам же Снель совсем не находил этого, тяготился работой у него и часто думал о том, как бы убежать из Комица.

Причина этого была та, что он не умел работать; прежде чем попасть к Фурману, никогда не работал по крестьянству, никогда близко не подходил к лошадям и не держал в руках вил, был слаб и не подавал надежды стать когда-нибудь сильнее.

Когда конвойный впервые привез Снеля к Фурману, он после лагерного голодания имел сильно отощалый вид. Он так плохо выглядел, что Иоганна, жена Фурмана, посмотрела на него с жалостью и сказала, что ему лучше не есть много сразу, потому что она слышала, что голодный человек может умереть, если ему дадут много есть. Снель возразил, что его дело не так

еще плохо, и доказал это, съев без вреда для здоровья несколько больших ломтей хлеба с маслом.

Конвойный сам понимал, что привез Фурманам неважный товар, и чувствовал их разочарование.

— Во всяком случае, — сказал он, напившись кофе и собираясь уходить, — вам будет легко с ним говорить. Он понимает по-немецки.

Он вынул из берданки единственный патрон, заложенный для того, чтобы пленный не вздумал бежать на пути из лагеря в Комиц, и теперь бесполезный, потому что Снель был сдан Фурману на руки, и поплелся на станцию.

Дело было к вечеру, и в этот день не успели испытать Снеля в работе, хотя он чистосердечно признался, что в работе он несколько неопытен. Успели только заметить, что на лошадей он смотрит, как на невиданных чудовищ, старается не стоять близко около их задних ног, и что, когда его заставили крутить соломорезку, он на третьей минуте побледнел и чуть не упал в обморок. Это были все нерадостные признаки.

Хуже было то, что за ужином в этот вечер он завел какие-то странные разговоры. Он полагал, что каждого немца прежде всего интересует литература и музыка, и заговорил о Шиллере, Вагнере и обо всем том, о чем он читал в лагере, но с удивлением увидел, что на лицах его хозяев не отражается ничего, кроме непонимания и горестного разочарования. Впоследствии, когда он ближе познакомился с этими людьми, он понял, как глупо было с его стороны в этой старинной трудовой крестьянской семье чуть ли не с первого слова заводить разговоры о Шиллере и о чем-нибудь подобном. Потому что, если прежде тут

и были того мнения, что даже такого слабого и неопытного человека, каким был Снель, можно все-таки откормить, сделать сильным и научить работать, то теперь, когда выяснилось, что в голове у него такие штуки, на него оставалось только махнуть рукой. Результат тем более неожиданный для Снеля, что заговорив о Шиллере, он в сущности делал Фурманам уступку, допуская, что, вследствие удаленности Комица от столиц, они, пожалуй, незнакомы с вещами более современными. Иначе он заговорил бы с ними о Штраусе или о Гофманстаале.

Даже то, что он понимал по-немецки было скорее отрицательным признаком. Лучше бы он не знал ни одного немецкого слова, не умел бы говорить вообще ни на каком языке, был бы глух и нем, но обладал бы простым сердцем и сильными руками. А такой, каким он был, слабосильный, хмурый, неизвестно о чем думающий человек, он был явно не на месте, был несчастен и впоследствии должен был неизбежно поддаться искушению бежать. А в этом главном пункте интересы семьи Фурман совершенно противоречили интересам Снеля.

Если бы Снель действительно убежал от них, им никогда никого на его место не прислали бы, и хозяйство должно было бы пропасть Снель же как раз для того и напросился ехать в эту местность, чтобы отсюда подстроить побег через австрийскую границу. Это он считал своим долгом, это было единственно важным делом во всей его теперешней жизни, и вопрос о том, в праве ли он ради благоденствия какой-то чужой крестьянской семьи откладывать исполнение своего глав-

ного желания — в разное время решал различно. В зависимости от того, было ли это после разговора с Фурманом, во время которого Снель последовательно и молниеносно сокращал назначенный для побега срок — с двух месяцев до одного, до двух недель, до десяти, пяти дней, пока не кончал: „завтра", — или же он находился под впечатлением разговора с старой Иоганной или с Анной, младшей дочкой Фурмана, когда он, наоборот, был склонен этот срок отдалять вплоть до совсем неопределенного времени.

С ним был однажды случай, вскоре по приезде, когда он почти приготовился к побегу и даже перенес мешочек с сухарями из казармы в сарай во дворе Фурмана и спрятал его в соломе в кузове старых саней, подвешенных к потолку; но оказалось, что в этом самом кузове клала яйца одна наседка, и Анна, придя за яйцами, нашла и мешочек.

Дело было ясно. Снель собирался бежать. Можно было сказать об этом старику Фурману и переполошить его на долгое время. Можно было показать мешочек конвойному, и он счел бы своим долгом явиться во двор к Фурманам и прикладом выбить из Снеля всякие ненужные мечтания. Но можно было также никому ничего не говорить и постараться подействовать на Снеля убеждением. Женщины так и сделали и в тот день, когда старик с племянником уехали в город, все втроем явились в конюшню, откуда Снель вывозил миниатюрные тачки навозу, и приступили к нему с допросом.

— Вальдемар, это ты положил в сарай мешочек? — спросила Иоганна, протягивая мешочек, который Снель узнал сразу.

— Я,—отвечал Снель, помолчав. Отнекиваться было бы бесполезно, но раскрытие его тайны тягостно удивляло его.

— Ты хочешь бежать?—продолжала Иоганна, приступая к сути дела.

Снель молчал, потому что ничего другого ему не оставалось делать.

— Не бегай, Вальдемар,—заговорили мать и дочери вместе, и лица у них стали просительными.—Подумай о нас. Отцу шестьдесят семь лет, в доме нет работника. Если ты убежишь, нам никого не пришлют на твое место, и некому будет ни пахать, ни косить.

— Мы знаем, тебе приходится плохо,—добавила Анна со своей искренней и горячей манерой,—но и нам не лучше. Мы терпим, терпи и ты, пока тебя сменят.

В дальнейшем они предложили ему что-то вроде условий. Его не будут заставлять ни таскать мешков, ни молотить цепом, ни делать другой тяжелой работы. Женщины об этом позаботятся. Что же касается пищи, то пусть он не думает, что он не зарабатывает своего хлеба, пусть говорит, если ему что-нибудь надо, ему не откажут. От него же требуется только ждать пока его сменят.

Снель молчал, но было похоже, что он соглашается. Внутренно он был размягчен и был готов ждать, тем более что стояла зима, а бежать зимой все равно было бесполезно.

Какая-то странная усмешка мелькнула в глазах Иоганны, когда женщины уходили, оставив Снеля с опущенной головой и в настроении самоотречения,—и этот огонек задел Снеля. В конце

концов это были только хитрые, себялюбивые, плаксивые крестьяне, которые в январе беспокоились о том, что в июле у них некому будет косить, и отравляли беспокойством жизнь себе и другим. И ради этого Снель должен был пропустить удобный момент, чтобы затем быть великодушно отправленным в лагерь за десять проволок и на голодное существование.

Условия также не соблюдались. Снель таскал мешки и молотил цепом. Он сам подставлял спину и ввязывался во всякую работу, стараясь делать все, что был в силах. Но никто не говорил ему, чтобы он не делал того или другого, а с молотьбой было даже много неприятных минут, потому что он не просто стоял согнувшись, двигая только руками, как делали все остальные, а при каждом ударе сгибался и разгибался, точно кланяясь кому-то, и это вызывало улыбки у девушек, а у Снеля раздражение.

Поэтому очень часто бывали минуты, когда он считал себя свободным от всяких обязательств и думал только о подходящем случае. Но случай этот мог представиться ему не раньше весны.

2.

В доме Фурмана редко смеялись. Было похоже, что прежде семья жила веселее и что люди они по природе были совсем не угрюмые. Но однажды, года полтора назад, пришло известие, что оба сына убиты на войне, и с тех пор и старики и дочери еще не совсем пришли в себя. Анне по молодости случалось улыбаться, но когда она улы-

балась, всегда казалось, что она сейчас же и заплачет. Иоганна была во власти каких-то неподвижных мыслей. Старик хандрил, капризничал, без толку пропадал из дому.

В ящике стола лежала фотография, которая иногда извлекалась на свет. Она изображала двор и семейство Фурмана несколько лет назад. Господин Фурман представлял тогда собою бодрого старика, с осанкой главы цветущего дома и с спокойной улыбкой на лице, Иоганна еще не была так согнута, точно перешиблена пополам в пояснице, как теперь. Анна выглядела подростком, Хедвиг казалась много свежее. Была еще четвертая женская фигура — старшая дочь, которая потом ушла в монастырь монахиней — сестрой милосердия, с обетом никогда не выходить из ограды монастыря. Были двое мужчин — сыновья, один высокий, без шапки, с начинающей лысеть головой и с открытым выражением лица, другой помоложе, белокурый, с выпученными глазами, стоявший навытяжку. Лошади также были выведены из конюшни и сняты на фотографии, но это была пара рослых белых лошадей, а не те два шиммеля, что стояли в конюшне у Фурмана сейчас.

Сейчас господин Фурман, если присмотреться к нему поближе, представлял собою иную фигуру. Это был раздражительный, небольшого роста старик, с массой красных жилок на лице, с набрякшим от алкоголя носом и узловатыми веками. У него была петушья нога, и он выступал с важностью, которая Снелю казалась забавной. В сношениях с посторонними ему была свойственна корректность и та благородная сдержанность, которая удивляла Снеля, привыкшего видеть ста-

рика придирчивым, хмурым, устраивающим истории, вызывавшие у домашних и смех и слезы.

Иоганна много молилась богу и нередко затемно ходила в монастырскую церковь к первой обедне. Снель находил естественным, что мать, потерявшая сыновей, молится богу. Но потом он узнал, что и его имя также упоминается в этих молениях: Иоганна просила, чтобы бог послал мир измученной семье, чтобы старик не падал духом, чтобы дела в хозяйстве пошли лучше и чтобы на место Снеля им прислали другого пленного, настоящего работника. Кроткая Анна сама сказала Снелю, что мать молится таким образом, и советовала и Снелю молиться о том же, потому что так будет лучше и для них и для него.

Снель и это тоже находил в порядке вещей, и если его тут что и удивляло, так это сходство с одним эпизодом из его раннего детства, когда он, годам к шести осиротев, очутился на руках у бабушки, норовившей по бедности сплавить его в казенное учреждение. Та также ходила к ранней обедне, водила с собой Снеля и там между прочими молениями, с жаром и слезами, громко с колен шептала:

— Матерь божия, сними с меня этот крест! Заступница всесветная, облегчи мою ношу!

И обеими руками протягивала Снеля к образу, словно показывая его богородице со всех сторон. Снелю и тогда уже не нравилось быть чьим-нибудь крестом, теперь же, когда через много лет на другом конце земли, повторялось с ним то же самое, он был немного озадачен.

И хотя для семейства Фурманов он был действительно крестом, посланным в дополнение

к остальным их несчастиям, со стороны Иоганны он всегда видел только ласковые улыбки и вечное снисхождение. И если за столом случалось ему искать чего-нибудь глазами, соль или нож, Иоганна почти пугалась, чтобы узнать, что ему нужно. Она сама выкапывала для Снеля из шкафов теплые фуфайки и носки и требовала, чтобы он надевал их. И если случалось, что Фурман посылал Снеля колоть дрова, а в это время с гор дул ветер, и в том месте, где работал Снель, за углом сарая, от него не было защиты, выходила из дому Иоганна, убеждалась, что Снель стоит на сквозняке, и шла к старику, говоря, что нельзя заставлять пленного работать на ветру, что надо дать ему другую работу. Старик не противоречил, и Иоганна посылала Снеля в комнаты чистить медные бляхи на хомутах или в погреб отбирать картошку, а чаще всего в коровник, где в это время вообще нечего было делать.

Если же Иоганна забывала позаботиться о Снеле, за это дело бралась Анна, младшая дочь. Некоторые вещи, повидимому, лежали прямо на ее обязанности — выносить ему хлеб с маслом, на второй завтрак, звать его обедать или кончать работу, и Снель замечал разницу, если Анны не было дома и хлеб для него мазала Хедвиг — тогда и ломоть выходил меньше и масла на нем было едва-едва.

Анна была его главной заступницей в доме, и если старик за столом вдруг подымал воркотню, она цыкала на него как на гуся, а если это не помогало, начинала плакать. Она была доброй по природе, а кроме того считала, что Снеля не надо раздражать, потому что тогда на зло им он убе-

жит, и им никого не пришлют на его место. Этот его возможный побег она постоянно имела в виду, не верила Снелю ни в одном его слове и была его самым главным и осторожным шпионом.

У нее было милое, выразительное лицо, которое никогда не оставалось спокойным. Ее волнения были восхитительны и вызывались причинами самого невинного свойства. Неожиданно развязавшийся посреди двора сноп мог вызвать у ней слезы. Болячка на ноге у лошади держала ее в подавленном настроении несколько дней. Успехи и неуспехи Снеля в работе вызывали у нее самые разнообразные чувства, от надежды до отчаяния, и все в самой высокой степени.

Некоторые вещи приводили ее в восторг. Так было, например, когда у соседа подпилили огромное дерево и с грохотом повалили его на землю. Она восхищалась этим весь день, а о людях, совершивших это, двух забракованных для военной службы инвалидах, говорила как о героях. Рассказывая о своих впечатлениях Снелю, она наивнейшим образом дала ему понять, как низко стоит он по сравнению с этими людьми, потому что едва ли он способен на такие вещи. В этой жизни надо было уметь делать и то и другое и третье. Человек, который умел пилить деревья, направлять сеялку и косить, был лучше человека, который умел только косить и направлять сеялку. Человек же, который ничего этого не умел, был никудышным, его не стоило любить, и на такого человека она смотрела, как на тухлое яйцо.

Снелю она всегда старалась на примере показать, что работа никогда не бывает грязной, и если Снель во время уборки коровника показывал ей

на брызги навозной жижи, попавшие на ее руки, открытые выше локтя, она с гордостью и удовольствием объясняла ему, что грязи при работе бояться не следует, что без этой самой навозной жижи не будет ни хлеба, ни картошки, что поэтому ею не надо пренебрегать.

Когда Снель по неопытности заговорил с нею о Шиллере, она быстро остановила его излияния одним замечанием:

— Мы простые деревенские люди,—сказала она не без кокетливой гордости, — нам это ни к чему.

В школе за восемь лет она переучила не мало стихотворений Шиллера, но считала, что теперь их пора забыть. А еще позже он услышал, как она рифмовала „Профессор“ с „Бротфрессер“.

В некоторых отношениях она была невинна до последней степени. Однажды они были одни на пашне и собирали камни, когда в монастыре зазвонили к „Аве Мариа“. Оба остановились, прислушиваясь, Анна перекрестилась, а Снель, отвечая своим мыслям, вдруг заговорил о том, что на свете есть не мало людей, которые не верят в бога.

— Разве такие люди бывают? — спросила Анна с удивлением и недоверием.

— Сколько угодно! — ответил Снель, и не приводя в пример себя, посоветовал ей съездить в Берлин, утверждая, что их там три миллиона.

— Этого не может быть, — сказала Анна с уверенностью, считая басней его рассказы о людях, неверящих в бога, как считала басней, когда он рассказывал, что в России он главным образом занимался тем, что играл на скрипке в большом оркестре, а спать ложился по большей части на рассвете.

Снель все-таки думал, что если б он поцеловал эту невинную во многих отношениях девицу, то она не оказалась бы совсем неопытной в этих делах. Было в обычае, работая на соломе, шутя толкать девушек в объятия мужчин. Анну всегда подталкивали к Снелю, и она улыбалась, но руки Снеля как-то не замыкались вокруг ее тела, и она выскальзывала из них, может быть даже с сожалением. Хедвиг и Антон смотрели на ротозейство Снеля с негодованием и кричали ему:

— Pack um! pack um! (обними! обними же!).

Хедвиг раздражала Снеля тем, что считала его немного блаженным, сердилась на него и говорила „пфуй“ с гримасой отвращения и отплевываясь. Снель платил ей тем, что совершенно лишал ее своего поклонения и относился к ней, точно она не шла в счет. Кроме того, он знал ее самую большую тайну, потому что однажды вошел в комнату, где она сидела перед зеркалом, разыскивая и вырывая у себя седые волосы: она очень смутилась, увидев Снеля, а потом рассердилась и сказала „пфуй“...

Антон был племянником Иоганны и жил у Фурманов в ученьи. Он только за полгода перед тем перестал ходить в школу. Снель проэкзаменовал его и убедился, что он ничего не знает о Шиллере и даже забыл заповеди. Ему была свойственна методичность в уходе за своим платьем, которое он ежедневно чистил, а сапоги свои он смазывал конским жиром и носил с такой осторожностью, что они и через четыре года еще не порвались. Из той же любви к порядку он считал нужным методически ругать Снеля во время работы, так как по работе он был старше его. И если

случалось, что клок навоза торчал из борозды, тогда как полагалось забивать его в самую глубь, он, не выпуская плуга, поворачивался к Снелю и, надувая пухлые щеки, кричал: „Ферфлухт!“ — что означало проклятие. Если та же история спустя немного повторялась, он снова поворачивался и проклинал его еще раз в усиленной степени:

— Ферфлухт но а моль!

Снель усмирял его, предложив ему папиросу или купив для него пару конфект в деревенской лавке. Против конфект он не мог устоять и, вкусив их, уже не считал возможным в этот день ругать Снеля. Снель даже замечал, как иногда долг в его душе вступал в борьбу с пристрастием.

— Благодарю тебя, — говорил он, съев конфекты, с искренним удовольствием.

А вечером, провожая Снеля в казарму, считал нужным еще раз вспомнить об этом:

— Еще раз благодарю тебя за конфекты, — говорил он, — они были превосходны.

В остальном у Антона была одна удивлявшая Снеля черта. Иногда ему случалось спрашивать его, как зовут того или другого человека, которого он знал только по виду. Всякий другой ответил бы на это деловито и без тени лиризма, что имя такого-то Макс Иеккель, а такого-то зовут Пауль Бадер, и это звучало бы определенно и не вызывало бы раздумья.

Манера Антона называть имена была совершенно особенной. Он размякал при этом, делался неузнаваемым, задумчивым и интимным.

— Его зовут Макс Иеккель, — говорил он после улыбок, раздумья и с такими колебаниями, точно это имя было сомнительной хрупкой фикцией,

которая неизвестно почему была присвоена этому человеку. — Да, да, Макс Иеккель — его имя.

Снель взглядывал на него с удивлением. Так необыкновенно это у него выходило.

— А как зовут тебя, Антон? — спросил он однажды: — Как твоя фамилия?

— Меня зовут Антон Фрост, — ответил он, и его раздумье и колебания были большими чем когда-нибудь, точно это была совершенно сомнительная вещь, что он Антон и что он Фрост.

— Да, да, Антон Фрост — мое имя, — повторил он с увеличившейся уверенностью. Ласковая, снисходительная улыбка была на его лице. Он извинял людям их милую слабость давать друг другу имена, слабость, благодаря которой у него тоже оказалось свое имя, но он не понимал ее.

Человек, которому от присутствия Снеля приходилось горше всех, был сам Фурман. В первый день он повел Снеля в амбар, свешал его на весах. Снель весил до жалости мало. Но старик, казалось, не был этим огорчен.

— Так, так! — сказал он с таким видом, точно этого и следовало ожидать, но что впереди есть надежда. — Вот посмотрим, сколько ты будешь весить через месяц.

Он показал Снелю, как надо пилить дрова, не надавливая на пилу, чтобы она шла свободно, и через час пришел посмотреть на плоды Снелевых трудов. Куча дров едва увеличилась, но зато Снель был весь в поту, а на руках у него появились пузыри. Он не без гордости показал их старику, чуть ли не ожидая за них его одобрения. Но старик, повидимому, был того мнения, что тут не за что хвалить, скорее надо жалеть, что руки

Снеля до сих пор оставались такими нетронутыми. Рядом с рукой Снеля он поставил свою руку, настоящую руку трудового человека, где мозоль сливался с мозолем, а все вместе составляло желтоватую бугристую оболочку, нечувствительную больше ни к каким раздражениям.

— Барабанная шкура! — сказал он, страшно довольный теперешним состоянием своей руки. — Троммельфель!

— У тебя тоже будет когда-нибудь такая, — обнадежил он потом Снеля.

Было ясно, что старик, говоря так, смотрел в будущее, имел в виду, что из Снеля современем что-нибудь образуется. В этот вечер он предложил ему сигару и затеял с ним дружеский разговор, который Снелю на три четверти остался непонятным, потому что старик то и дело сбивался на диалект.

Такую же сигару он дал ему и на следующий вечер. Но в дальнейшем охота дарить пленному сигары пропала у него, и он сам стал заметно задумчивее.

На пятый день он впервые назвал Снеля размазней. А еще через день он сел составлять свое первое заявление в инспекцию военно-пленных, где, упомянув сначала о том, что оба его сына убиты на войне, переходил к огромному значению сельского хозяйства в тяжелые годы войны, из чего вытекало, что имеющегося у него пленного Снеля необходимо заменить каким-нибудь другим пленным, более пригодным к работе, так как без надежного работника его хозяйство должно будет пропасть.

Неспособность Снеля с каждым днем обнаруживалась яснее и возмущала его душу, и скоро старик почти не мог без раздражения видеть этого горбящегося, съеженного, рассеянного человека, который рубил дрова с такой осторожностью, точно его задача была производить при этом как можно меньше шума, и который считал, что уже поработал, если подмел двор или отнес сена коровам.

Иногда, побеждая себя, он подходил к Снелю, когда тот возился с каким-нибудь суковатым поленом, норовя хоть с какой-нибудь стороны проделать в нем щелку, и говорил ему добродушно и убедительно:

— Смотри, Вальдемар, ты весь в поту, но полено осталось таким, каким было. Когда ты рубишь дрова, Вальдемар, надо, чтоб тебя было слышно у седьмого соседа. Вот смотри, я тебе покажу.

И он брал это же самое полено и с наскока с сипом и хрипом, в пару минут обращал его в щепы. Покончив с одним, подкладывал другое, но тут оказывалось, что на первом полене он уже весь выдохся. И размахнувшись топором, он вдруг опускал руку и передавал топор Снелю.

— Ну, работай, — говорил он, стараясь отдышаться. — Теперь ты видел...

А Снель делал из этого только тот вывод, что таким темпом, как показывал старик, можно работать несколько минут, но никак не целый день, и только укреплялся в своей позиции неторопливого нешумливого дровосека.

Или старик подходил к Снелю, когда тот пилил дрова, ерзая с быстротой серединкой пилы

по толстому обрубку, и некоторое время наблюдал его со стороны.

— Если ты пилишь с кем-нибудь вдвоем, — начинал он кротко и даже улыбаясь, — твое дело только тянуть пилу на себя... Тянуть до самого конца... Если ты будешь надавливать, пила пойдет вкось...

Он брался за другой конец пилы и некоторое время они пилили в молчании.

— Ты надавливаешь, Вальдемар, — говорил старик плаксиво через минуту, — ради бога не надавливай...

Снель терялся и едва дышал, боясь как-нибудь надавить или покривить пилу.

Странным образом, чем дольше они пилили, тем более начинало Снелю казаться, что если кто из них двоих надавливает, то это именно старик, а не он. И он начинал поглядывать на старика иронически, а вечером за столом даже рассказывал намеками, что люди иногда впадают в забавные недоразумения. Например, два человека, не видя друг друга из-за угла, бегут и сталкиваются лбами, и каждый обязательно считает виноватым другого, хотя, если подумать, оба виноваты одинаково. Или когда два человека пилят бревно и пила плохо идет, каждому кажется, что это другой портит дело, сам же он тут не при чем. Это все ошибки зрения.

Старик был не дурак и понял намек, но не столько рассердился, сколько огорчился. Он убедился лишь, что Снель не только плохой работник, но еще и глупый, упорствующий в заблуждениях человек, питающий какие-то претензии там, где ему надо лишь учиться и учиться...

Или Иоганна, с целью развлечь старика, говорила ему, что вот-де Снель в последнее время старается и даже научился делать вполне приличные прясла. Она предлагала ему посмотреть, как он работает в коровнике. Старуха говорила не наобум, а после того, как Анна много раз за делом и без дела побывала в коровнике и перетряхнула Снелевы прясла с разных сторон. Анна не находила в них недостатков, и по школьной привычке определяла их „befriedigend gut“, что значило „удовлетворительно“, но работа Снеля вообще внушала ей так мало доверия, что ей все-таки приходили в голову сомнения.

— Вальдемар, — говорила она пугаясь, не слишком ли она его захвалила,—вообрази только, что вдруг во время жатвы они все начнут рваться...

Это было самое ужасное, что она могла себе представить, и жест, который она при этом делала, очень подходил бы для первой ученицы, изображающей полный и публичный провал на экзамене.

Старик редко заглядывал в коровник, но, услышав об успехах Снеля, пришел и он взглянуть на его работу. Он явился в благодушном настроении, готовый к одобрению, но очень скоро лицо его омрачилось. Он взял один поясок из кучи и смерил его на длину раскинутых рук.

— Слишком короткий!—сказал он, для начала без плаксивых нот, — им ничего не завяжешь!..

Он смерил таким же образом другой. Этот был в меру длинен, но зато толща соломы чересчур свободно проходила в кольце между его большим и средним пальцами.

— Слишком жидкий! — вскричал он с нарастающим негодованием. — Он не будет ничего держать...

Третий поясок был в меру длинен и в меру толст. Снель думал, что тут уже ему нечего будет сказать. Но старик попробовал крепость среднего узла и дернул поясок за концы так, что узел затрещал.

— Он порвется! — затянул он ноющим голосом. — Он обязательно порвется!

Казалось он был бы теперь огорчен, если б нашел хоть один вполне хороший поясок и его мнение, что Снель никогда и нигде не может сделать ничего порядочного, было бы поколеблено.

— Никуда не годятся! — кричал он плача и с торжеством, хватая из кучи то то, то другое. — Все никуда не годятся...

Он смерил на глаз всю уйму сделанных Снелем поясков, связанных в шоки, по шестьдесят штук, и сколько на это пошло соломы.

— Что тут происходит! — вопил он, оглядываясь, словно не понимая, куда он попал: — Что тут только происходит! Человек переводит солому возами. Никто не смотрит...

И он уходил в дом с горестным видом человека, которого объедают и разоряют и который ничего с этим не может поделать.

3.

Прежде чем послать свое заявление в инспекцию, Фурманы решили посоветоваться с уездным комендантом военнопленных. Это был белокурый немецкий подпрапорщик, с железным крестом и

ватной грудью, которого Снель видел однажды. Когда его везли из лагеря к Фурманам, его по дороге завозили и к подпрапорщику на его городскую квартиру, где помещалась его канцелярия. Снель простоял там несколько часов на ногах, от нечего делать разглядывая через неприкрытую дверь обстановку в комнатах подпрапорщика и читая вышивки на стенах с надписями нравственного содержания. Там между прочим над кроватью он увидел большой ковер с узором из цветов по краям и с вышитой надписью посредине о том, что высшее назначение человека на земле — это сеять цветы добра...

Те цветы, которые сеял подпрапорщик между подчиненными ему пленными, были едва ли цветами добра. К нему приводили беглых пленных для допроса, и он встречал их не очень любезно. Каждого беглого русского пленного он считал чем-то вроде изменника немецкому императору, и когда какая-нибудь заморенная карцером фигура появлялась перед его столом, он в течение некоторого времени рассматривал ее пристальным грозно-презрительным взглядом, в котором был также и оттенок укора. „Свинья от головы до пят“, — резюмировал он свое впечатление от особы военнопленного и, отведя от него взгляд, приступал к писанию протокола:

„..... декабря 1916 г. Для допроса является военнопленный....., русской национальности, год рождения 18..., рядовой N полка N дивизии, взятый в плен при..... в 1915 г. и находившийся на работе в..... при команде №..., который об обстоятельствах побега показывает следующее...“ Он редко излагал обстоятельства дела

в пользу беглых и был большой любитель возить бежавших из казарм на место совершения побега, где снова заставлял их у себя на глазах пролезать через те щели, через которые им удалось уйти. Для строптивых и рецидивистов в его доме была камера, где им внушали покорность, при чем и сам подпрапорщик в некоторых случаях пускал в ход свои миниатюрные кулаки, облачив их из предосторожности в перчатки. Кое к кому он применял также особые наказания — заставлял приседать на корточках в течение часа с поленом на вытянутых руках, при чем уставших подбадривал саблей в ножнах.

Он произносил перед пленными речи, тут же переводившиеся переводчиком, в которых доказывал бессмысленность их стремления к побегам по трем причинам. Во-первых, успех побега вообще невозможная вещь — „Аусгешлоссен!“ — беглых всегда ловят, и им только приходится отбывать арест, во-вторых — благодаря побегу одного налагаются репрессии на остальных, так что беглые грешат против товарищества, а в-третьих, потому, что при поимке часто подымается стрельба, пули редко бьют мимо цели, и пленный легко может переселиться в иной мир.

— А оттуда,—говорил он, выразительно показывая на небо,— каждый, конечно, может писать письма....

В присутствии подчиненных подпрапорщику была свойственна величественность, при чем малый рост искупался нахмуренными бровями и грозным выражением лица. Ему случалось отдавать приказания, и вдруг, еще не кончив говорить, впадать в рассеянность и задумчивость, вызванные, пови-

димому, очень важными, пришедшими ему в голову, мыслями, и сидеть так минуту или две и только потом возвращаться к прерванному приказанию. Или же случалось, что, покончив с делами, он вставал с места и уже почти скрывался за дверью, как вдруг возвращался нахмуренный, озабоченный, вынимал из кармана записную книжку, тут же прятал ее назад, даже не раскрыв ее и, повидимому, уладив дело без этого, и уже после всего этого скрывался за дверь окончательно. Все это под почтительными взглядами своих унтер-офицеров, которые едва успевали расступаться перед ним при его уходах и возвращениях.

Что касается цветов добра, сеять которые было высшим назначением человека на земле, то возможно, что эта надпись над его кроватью не имела к нему отношения и была обязательна лишь для его жены, молодой, начинающей расплываться женщины, которая действительно, заходя иногда в канцелярию и видя, что какой-нибудь допрашиваемый от долгого стояния на ногах готов упасть на землю, возвращалась со стулом для него и говорила:

— Пусть пленный сядет...

Или приносила стакан воды, что было безусловно актом милосердия, если принять во внимание, кто такая была „фрау оффицирштелльфертретер“ и кто были все эти разнесчастные пленные.

Фурман, подавая свое заявление о замене Снеля другим пленным, возложил миллион надежд на благоприятную резолюцию подпрапорщика.

Были сделаны шаги, чтобы напомнить ему о себе, и конвойный, в одно из служебных посещений канцелярии, занес его жене сверток с несколькими фунтами масла. Она долго отказывалась принять этот подарок и взяла его только после упрашиваний, растроганная до слез тем, что семейство Фурман так любезна к ней. Подпрапорщик поддержал ходатайство Фурмана, и тем не менее старику было отказано. „Там“, в Бреславле, решительно не любили никаких перемещений.

4.

Зимой по утрам Снель просыпался рано, еще в темноте, по крику конвойного „Ауф!“. Это были неприятные моменты его жизни. Не было случая, чтобы он не согласился поспать еще и очень часто он пробовал полежать еще минуту с закрытыми глазами. Если он продолжал лежать и дольше, товарищ толкал его в бок.

— Вставай, Снель, — говорил он сиплым от ночной чади голосом, — все равно, перед смертью не надышешься...

Через пять минут после первого сигнала все должны были быть одетыми и готовыми к выходу. Мокрые со вчерашнего сапоги не лезли на ногу в портянке, и Снель после первой попытки надевал их на босу ногу, а портянки прятал в карман.

Команда, еще сонная, топоча сапогами по мостику через ручей, выходила на улицу. Двенадцать человек направлялись в одну сторону и с ними шел конвойный, двое — Снель и еще

один — шли налево. Конвойный не провожал их, он только смотрел, как они подходили к воротам своих хозяев.

Можно было войти в калитку, пройти на кухню и сказать: „Гут морген“. Но можно было также взять вбок, пройти мимо гумна Фурмана и свернуть на полевую дорогу к границе. Снелю такая возможность иногда казалась соблазнительной, но по размышлении он всегда отклонял ее. Около гумна лежал кучами хворост, стоило ему наступить хоть на одну сухую ветку, чтобы звук был слышен у Фурмана. Вся округа уже знала, что пленных вывели из казармы, и где-нибудь во дворе уже стояла Анна, его милый шпион, и поджидала его. Если б он задержался на две-три минуты, этого было бы достаточно, чтоб Антон выехал на дорогу на розыски. Кроме того существовала собака Ролло с отличным нюхом. А через полчаса пришли бы в движение „телефонери“, „жандармери“ и все то множество, которым коменданты пугали пленных, доказывая им, что бежать бесполезно. Тем временем светало бы все более и более, и к началу дня Снель неизбежно должен был бы обнаружиться где-нибудь, беспомощный на этой открытой равнине, и, кроме слез и смеха, ничего бы из всей истории не вышло.

Снель входил в калитку, которую всегда кто-то уже успевал открыть к его приходу, проходил на кухню, где под котлом с водой был разложен огонь, а вода была нагрета достаточно, чтобы можно было носить ее в коровник в бочку с месивом и чтобы проявить деятельность, подбрасывал в топку угля.

— Ist's schon warm genug? [1]) — каждый день одними и теми же словами спрашивала Иоганна, внося в кухню подойник.

— Es wird bald cochen [2]), — каждый день с одними и теми же ошибками в произношении отвечал Снель.

Только один раз за все время случилось, что он явился к хозяевам прежде, чем в доме проснулись. Но к его удивлению оказалось, что с девушками это был как раз единственный случай со времени их детства, что они встали позже пяти часов. Они сами говорили об этом, как о забавной милой оплошности, и не понимали, как это могло с ними случиться. Анна же с горячностью добавляла еще, что уж наверное с нею больше никогда ничего подобного не случится.

Такие обещания, ее горячность и благонравие казались Снелю забавными. Шутя он спросил, не была ли она в школе первой ученицей. Оказалось, что она действительно в школе была первой, и тогда стало понятным, почему иногда она беспокоилась, что не кончит чего-то к какому-то сроку, смотрела на часы, менялась в лице и схватывалась работать, точно существовало какое-то расписание, которому надо было следовать. Понятным стало также, почему она так часто говорила Снелю: „Ты должен“, а о себе еще чаще: — „Я должна“.

Когда последнее ведро горячей воды было влито в месиво, а вся бочка сверху донизу размешена опытнейшей рукой Иоганны, начиналось кормле-

---

[1]) Горячая уже?

[2]) Сейчас закипит.

ние коров. Обязанность Снеля была разливать ведра по яслям, и он делал это с удовольствием.

Коровы были для него, как и лошади, существами из незнакомой ему области, но они не лягались, были сонливы и задумчивы. Он до такой степени мало знал их, что только после недели хождения в коровник заметил, что они иногда лежат и жуют что-то губами, хотя ясли перед ними пусты. Он остановился перед таким явлением в изумлении и только потом, пораскинув памятью, сообразил, что это самое и называется пережевыванием жвачки и что об этом говорится в учебниках.

Бычки забавляли его своим баском и своей ранней солидностью. В первые дни, пока ему не сказали, что бычкам надо наливать и справа и слева, он наливал им только с одной стороны, а бычки поворачивали головы и смотрели на него высокомерно-удивленным взглядом, которого Снель не забыл.

— Этот идиот должно быть не знает, что мы получаем и справа и слева, и еще раз справа и еще раз слева. Боже, какого идиота прислали нам в коровник...

В дальнейшем Снель старался загладить свою ошибку перед бычками разными добавками. Перед ними он долго чувствовал себя виноватым.

Вычерпав гущу, Иоганна набирала в ведро месива пожиже.

— Для маленьких...— говорила она, ежедневно с одной и той же улыбкой.

У телят были трогательные, синие с мутной пленкой глаза, и они всегда беспомощно сбивались в кучу, набегая друг на друга и мешая Снелю пройти к корыту, с какой бы стороны он ни под-

ходил. Они опускали мордочки в пойло играючи, с равнодушным видом, но распробовав приходили в одушевление и начинали есть как следует, обязательно отфыркнувшись, отбрыкнув задней ногой и отмахнувшись хвостом, точно приглашая какие-то досаждающие им невидимые силы не мешать им, потому что они заняты.

Коровы вели здесь однообразное существование. Они могли стоять или лежать, делать два шага вправо и влево на длину цепи, но больше этого они уже ничего не могли делать и годами не сходили с своего места в коровнике. Только осенью в течение недели их выгоняли на несколько часов на жнивье.

Происшествий в коровнике не случалось. Разве случай, когда одна пегая корова ночью отвязалась с своего места, подошла к бочке с киснущим с вечера месивом, столкнула с нее крышку, проявив при этом много сообразительности, потому что крышка была приперта табуреткой, которая, в свою очередь, была подогнана вплотную под кран водопровода, и все сооружение вместе представляло затруднение даже и для человека, и наелась месивом до обалдения, возбуждая волнение и мычание своих собратий. Утром, когда пришли с фонарем, порядок был восстановлен, корову привязали на место, пойло приготовили заново и кормление пошло обычным порядком, с той только разницей, что когда дали есть и пегой корове, она проявила равнодушие к еде, что было неудивительно. Иоганна была рада уже тому, что она, шатаясь в темноте, не переломала себе ног.

За те месяцы, пока Снель был у Фурмана, это было единственное интересное происшествие в ко-

ровнике, если не считать редких случаев, когда ту или иную корову водили на соседний двор к быку, после чего ее снова ставили на место, а Иоганна несколько минут растирала ей хребет палкой.

Однажды, впрочем, поздно вечером, когда коровник был во тьме, там поднялся вдруг шум, бряцанье цепей и мычанье с бунтовщическими нотками. Коровы против чего-то протестовали. Но шум был прекращен в две минуты, потому что явилась Иоганна с длинной веревкой в руках, и удостоверившись, что в кормушках еще у всех есть несъеденное сено и, следовательно, коровам не на что жаловаться, принялась настегивать их направо и налево, не разбирая правых и виноватых. При этом на лице ее была ласковая улыбка, та самая, с которой она, давая Снелю ведро с жидким месивом, говорила:

— Это для маленьких...

Накормив коров и открутив центрифугу, Снель по утрам выполнял еще одну обязанность — звал юного Антона завтракать. Он шел через двор и стучался в дверь конюшни, где рано разбуженный Антон спал стоя, уткнувшись в лошадь, со штригелем и щеткой в руках, а услышав шаги и стук в дверь симулировал оживленную деятельность, покрикивая на лошадей и наскоро проводя щеткой там и сям.

— Anton, komm mal 'rein! — говорил Снель всегда в одной и той же редакции, думая, что если он изменит ее, то может, пожалуй, выйти не по-немецки: — Wir wollen bald früstücken! [1]).

---

[1]) Антон, иди в дом. Сейчас будем завтракать.

— Gleich! [1]) — отвечал Антон изнутри сиплым голосом и спустя немного, деловито выходил наружу, накинув на плечи куртку и с фонарем в руках, который он тушил только входя в кухню, да и тогда не сразу, а оглядев его со всех сторон, точно, боясь, как бы эта тщедушная коптюлька вдруг не вспыхнула и не наделала беды. Кто-то ему внушил, что так надо обращаться с фонарями, и он выполнял предписания добросовестно, раздельно и по порядку.

Перед завтраком умывались. У Снеля была своя миска и свое полотенце, но если при этом случалось, что он не мог найти мыла или горячей воды, он замечал, что Хедвиг это как бы совершенно не касалось, но зато Анна сейчас же добывала ему все нужное.

Точно так же Анна одна интересовалась вопросом, надел ли Снель портянки на ноги или же носит их в кармане, и заставляла его обуваться по-настоящему. Был даже случай, когда она показывала ему, как надо надевать портянки, чтобы нога лезла в сапог, и собственными руками навернула их ему на ноги, имея при этом вид сострадательной сестры милосердия около беспомощного больного. Хедвиг, которая вошла в это время в комнату, нашла, что тут уже слишком много милосердия, сказала „пфуй“ и даже плюнула. Анна посмотрела на нее с кротостью, а Снель почувствовал себя очень неловко.

Когда вся семья собиралась около стола, подавал первые признаки жизни после пробуждения и сам глава семьи. Хрипя и торопясь, он одевался,

---

[1]) Сейчас.

откашливаясь от насевшей в горле копоти, выходил на двор, не отходя по нужде особенно далеко, а пользуясь правом хозяина мочиться на фундамент собственного дома; потом, проходя через кухню, находу опускал руки в какую-нибудь миску и тут же вытирал их, считая, что для будней он уже вымыт достаточно, и только по воскресеньям задерживаясь у миски с водой на более долгое время.

Бормоча на-ходу молитву, косясь на распятие, старик садился за стол. Он принимался есть с жадностью, но мгновенно насыщался и остальное время проводил в том, что хмурился, поглядывал в окно и что-то соображал. Анна ела много и основательно и, глядя на нее, Снель опять вспоминал, что она бывшая первая ученица, которая твердо знает, что для того, чтобы хорошо работать, надо хорошо есть, а чтобы еда лучше шла на пользу, ее надо как следует разжевывать. Хедвиг ела скучая, во время еды она была склонна к задумчивости.

Антон и Снель насыщались основательно, но только Антон норовил покончить с едой раньше Снеля. Существовало какое-то правило приличия, которому он следовал никогда не оставаться последним за столом, с недопитой кружкой и недоеденным куском, и в то время как все уже кончили, все еще глотать и жевать. Это означало бы, что он слишком много ест, а он хотел, чтоб так думали не о нем, а о Снеле, и Снель замечал потешное смущение и прямо испуг на его лице, когда, налив себе свежую кружку кофе и отрезав хлеба, в надежде, что так сделает и Снель, он вдруг видел, что Снель вопреки обык-

новению совсем не собирается этого делать, отставил от себя чашку, откинулся от стола, сидит да еще и посматривает на него с нетерпением:

— Когда ты только наешься, обжора!

Зимою светало поздно, и семья сидела за кофе дольше, чем нужно, дожидаясь рассвета.

— Отец,—спрашивала Анна,—как прилежная, забегающая вперед ученица,—что мы сегодня будем делать?

Старик брюзгливо поворачивался от окна. Такие вопросы раздражали его.

— Не знаю,—говорил он с неизменным неудовольствием.—Сам не знаю. Подождем, пока рассветет.

И он снова принимал вид человека, усиленно что-то обдумывающего, не замечая, что жена и дочери подавляют ласковые улыбки. Его любили, но над ним посмеивались.

Выбор был совсем невелик. Предстояло или продолжать молотьбу, или ехать в лес за дровами. И нечего было особенно думать. Но старик держал себя так, точно находился перед миллионом решений, и по меньшей мере ждал телеграмм из Лондона и Нью-Иорка для решительного хода.

— Должно быть, будем молотить!—предполагала вслух Анна.—Сделаем пять туров до обеда.

— Не знаю, не знаю...—тянул свое старик.—Ничего не могу тебе сказать. Подождем, пусть рассветет.

Под его взгляд попадался Снель, насытившийся, о чем-то думающий, безразличный к тому, будут ли они молотить или поедут в лес, и он раздражался.

— Может быть, — говорил он хмуро, со старческими переходами голоса, — кому-нибудь здесь хочется, чтоб было подольше темно...

И Снель понимал, что это говорится о нем.

Кончали тем, что вставали и шли молотить. Снель подавал снопы на стол, Анна задавала в барабан, Хедвиг и Антон вязали. Снель сгибался и разгибался, развязывал пояски, рвал их второпях, но глаза его всегда сами собой обращались в одну сторону, туда, где в открытую дверь гумна виднелись горы. Здесь, под грохот машины, среди пыли и гама, им больше чем где-нибудь овладевала мечтательность. И оттого случалось, что он зевал во-время подать сноп на стол, и барабан грохотал впустую. Хедвиг в таких случаях показывала на него Анне глазами и кривила губы. Анна смотрела на него с жалостью и в то же время не без возмущения. Кто-то ей сказал, что доводить дело до того, чтобы барабан работал впустую, постыдно. Сама она была бы несчастна, если б с ней случилось что-нибудь подобное.

Обедали у Фурманов не торопясь, готовили со вкусом. Утомившись после утренней работы, больше молчали. Происшествий не случалось, если не считать случаев, когда старик вдруг начинал находить пищу невкусной. То ему казалось, что в картошке нет кислоты, и он собственноручно брался за бутылку с уксусом, намереваясь влить его в миску, которая была одна на всех. Жена и дочери протестовали вслух, Антон и Снель выражали неодобрение взглядами.

— Не ешьте там, где я ем, — говорил старик, ощетиниваясь, и заливал уксусом половину миски.

Он был капризный старик и готов был пить уксус стаканами, если ему противоречили.

Но это были пустяки, если ему только не хватало кислоты, хуже было, когда он находил суп несоленым и принимался солить его.

Впрочем редко случалось, что он капризничал за обедом. Обыкновенно, глотнув чего-нибудь несколько раз с жадностью и тут же насытившись, в дальнейшем он отставал и сидел за столом, как зритель. Случалось также, что он был в отличнейшем настроении и даже с Снелем заводил разговоры безобидного свойства.

После обеда вязали, переносили зерно на чердак. Снель колол дрова и поглядывал на солнце. Когда лучи его делались косыми и ложились малиновой полосой между яблонями в саду, появлялась на крыльце Анна и говорила Снелю кончать. Начиналась уборка коровника, приносилась полова, сено, овес, на кухне разводился огонь, опять грелась вода, опять крутилась центрифуга, и уже в темноте, после того как никто не был забыт и даже кролику отнесен его клок сена на ночь, рабочий день в доме считался законченным.

За ужином с мирными улыбками, в забвении дневных огорчений, поглощали картофель с маслом, выпивали по кружке кофе, долго сидели и молчали, настораживаясь, если снаружи раздавался какой-нибудь звук.

Каждый звук снаружи в этой освещенной, закупоренной, уютной комнате мигом находил свое объяснение. Если Ролло бросался с лаем через двор и лай его слышался из-за гумна, это значило, что кто-то свернул на полевую дорогу к границе— контрабандист, беглый пленный, нехороший чело-

век. Или вдруг хлопанье деревянных башмаков раздавалось с улицы. Это Ледер Пауль, маленький сын горбуна, пошел за молоком к Вейнертам. Если через минуту деревяшки хлопали дальше, это значило, что у Вейнертов молока ему не дали, и он пошел к Вагнерам. Снель пугался, до какой степени все здесь было как на ладони и как он ошибался, когда думал, что может скрыться, не оставив следа.

Наступал момент, когда Иоганна, встретив его взгляд, говорила за него:

— Вальдемар хочет спать. Кто отведет Вальдемара?

Это было небольшое удовольствие итти по холоду пару кварталов, чтобы проводить Снеля до казармы и взять с конвойного расписку в том, что он принял пленного назад во столько-то часов и столько-то минут. Обыкновенно это лежало на обязанности Антона. Но иногда Снеля провожала Анна, усталая, лихорадящая, кутающаяся в платок.

— Гуте нахт! — говорил Снель, задерживаясь у дверей, в ожидании пока Антон наденет куртку.

— Гуте нахт, — отвечала старуха неизменно ласково. И была еще ласковее, если при этом был старик, который не отвечал на прощанье Снеля по-настоящему, а хрипел про себя что-то, не глядя на него.

— Отец, — вмешивалась Анна в таких случаях, — Вальдемар уходит и желает нам всем спокойной ночи.

— Ах, Вальдемар уходит, — говорил старик с неуловимой хитрецой, симулируя пробуждение из рассеянности, — ну, спокойной ночи, спокойной ночи...

Снель, улыбаясь, выходил на улицу.

5.

Придя в казарму, Снель обыкновенно уже заставал там Антона Мазура. Это был веселый детина, который совсем не казался утомленным после работы целого дня, и в то время как Снель, придя на квартиру, норовил поскорее раздеться и улечься на нары, Антон оказывался как раз в подходящем настроении, чтобы поиграть на гармонике или засесть в очко. Это происходило оттого, что у вдовы, у которой он работал, по зимам нечего было делать в маленьком хозяйстве и он проводил время в том, что строил ей куры, провожал в школу двух ее мальчиков, развлекал третьего, которого еще носили на руках, или стряпал сам себе галушки и кулеш.

Антон редко унывал сам и не любил, чтобы и в компании заводилось уныние, играл с душой на гармонике и при общем внимании рассказывал случаи из своей жизни, при чем любил изображать самого себя сильно жуликоватым. Этому товарищи, знавшие обстоятельства его теперешней жизни у вдовы, охотно верили, тем более, что и с фамилией и именем у него тоже было не совсем ладно: звали его Антон Мазур, но он был также и Иван Гребницкий, и сам чорт не разобрал бы, каким образом это произошло. Запас случаев из его жизни за два года нахождения в одной и той же компании еще не истощился, что указывало если не на богатую событиями жизнь, то во всяком случае на богатое воображение. Рассказывать же он умел искусно, умел и заинтересовать и проморить слушателя, разгорячить его, заставить

подождать, задавить подробностями, чтобы затем в два слова прийти к смехотворному концу. И, слушая, например, его повествование о том, как в Самаре ему медички бензином раны промывали, вошедший во вкус слушатель почти что чувствовал, что тампоны, о которых рассказывалось, рвутся из его собственного тела, со всеми связанными с этим неприятными ощущениями.

Другим признанным рассказчиком в казарме был Максим, остроносый, чистоплотный человек, с бельмом на глазу и примазанными к темени и до половины лба волосами. Он рассказывал сказки, если приходило настроение, по вечерам, когда все лежали в постелях, и тогда даже самые сонливые, те, которые, казалось, уже спали, вдруг удивляли соседей тем, что неожиданно фыркали, когда рассказывалось смешное. Сказки были слышанные им где-нибудь или вычитанные из книг. Последние отличались от первых тем, что тут в его передаче чувствовались все тире и все вводные слова, которые были в книге. Было известно, что его нельзя перебивать, потому что он считал такое поведение неприличным, обижался и спадал с тону. Он очаровывал слушателей медлительностью речи и серьезностью, с какой выполнял свое дело. Такие сказки, как о королевском сыне, который учился воровать, были известны всем в подробностях, но какой бледной и неинтересной она выходила, если кто-нибудь другой, а не сам Максим брался ее рассказывать.

Или он рассказывал события своей жизни, которые все были не похожи на скандальные истории, случавшиеся с Антоном. Об отце с матерью, о поганой службе в конвойной команде на окраине,

о побегах арестантов, о присяге, или о том, как, попав в плен, пытался с первых же этапов в Польше бежать и во время побега переходил в ледоход реку со льдины на льдину, при чем товарищи его погибли, а он позже в полузамерзшем состоянии был снят со льдины немецким патрулем. Жизнь в его изображении выходила трагической и серьезной, а он сам человеком, любопытным до людей, всегда чего-то в них искавшим и ненашедшим. Потому, как он говорил о людях, было видно, что он любил все-таки, чтобы человек был на своем месте, гнул свою линию и разумно приобретал. Таких людей, как Снель, считал праведными, но никудышными, и если видел, что Снель, закуривший перед сном семипфенниговую сигару, а потом пресытившийся ею и думавший лишь о том, как бы покончить с нею скорее, бросал недокуренный на треть окурок наотмашь на середину комнаты, делал ему выговор:

— Зачем не потушил, не спрятал?

Снель сонно возражал, что тушить да прятать дороже стоит. Лень повернуться, спать хочется.

— Так ты и все расшвыряешь, — говорил Максим. — Ведь вот мы одно зарабатываем, а денег у тебя не бывает, и ты ко мне приходишь взаймы просить.

Жизнь в Комице давалась Максиму нелегко. Каждый день он рассказывал о каких-нибудь новых обидах от хозяев. От них он прежде тоже чего-то добивался, чего-то у них искал — признания что ли, или любви — не добился, стал гнуть в другую сторону, ударился в самолюбие, дурил, устраивал истории. А однажды, получив на неделю свежую печатку масла, когда и от прошлой

недели у него оставался кусок, взял да и опрокинул публично остатки себе на голову и размазал по волосам, чтобы этим что-то хозяевам доказать. Хозяева после этого случая стали смотреть на него с опаской и считали, что у него не все дома. Он и сам, впрочем, боялся такого оборота и иногда, ложась спать, говорил:

— Что-то шумело у меня в голове весь день очень. И в глазах среди дня темнело. Плох я стал на голову.

Заметным человеком был также Филька, — Филипп Падерин, — веселый основательный мужчина из пермяков, мало проявлявший себя публично, но в задушевных беседах по углам в небольшой компании обнаруживавший неистребимую веселость и готовность находить забавным что угодно. Происшествия жизни, случавшиеся с ним, все на подбор были такие, что над ними можно было только хохотать. На военной службе он был жандармом, где-то на Дальнем Востоке, дергал китайцев за косы, брал с них почем зря рубли и полтинники, и это было забавно. Домой в деревню после службы вернулся с тремя тысячами в кармане, что было уже совсем весело и доставило ему уважение сограждан. Еще смешнее было, однако, что все эти тысячи он некоторое время спустя промотал самым вздорным образом, следуя примеру какого-то драгунского вольноопределяющегося, к которому испытывал нежность и теперь, много лет спустя, да и к Снелю благоволил в значительной мере потому, что он тоже был из вольноопределяющихся, и Филька искал в нем элементов драгуна. Когда началась война, Фильку двинули из тыла на запад, и в каждом городе он но-

ровил задержаться и подебоширить, и все сходило ему с рук, пока не попал он в Одессу, где заболел дурной болезнью. Это было бы уже не так забавно, если б не попал он благодаря этому в лазарет в монастыре, вспоминая о котором и о том, как он обличал в стяжательности монахов, продававших тайно вино больным, чуть не умирал со смеху. Дергал он своего сидельца за бороду, нечестивым языком поучая его добродетели, а тот только кланялся и просил:

— Прости Христа ради...

На фронте тоже было не мало смеха. Офицеры попадались все какие-то чудаки, солдаты — бог их знает, откуда их только таких набрали, шрапнель рвалась над головой самым забавным образом. В плену в лагере Филька сначала чуть было не сдох с голоду, и тут с ним мало случалось забавного, если не считать случая, когда он, пойдя однажды в отхожее место, представлявшее собою дощатый помост над глубокой ямой, провалился от слабости сквозь дыру и был извлечен из ямы едва живым. В деревне у крестьян Филька снова вошел в тело, повеселел, находил бездну поводов погоготать, а в свободные часы выстукивал из пфеннигов колечки, которые продавал потом за марки немкам по соседству, и норовя выгравировать на нем сердечко погрудастей, а стрелу позанозистей, заранее ухмылялся, представляя себе, как немка, для которой колечко делалось, очаруется им, посоловеет и скажет: „Hübsch!“...

Рядом с Филькой занимал место на нарах здоровенный и добродушный парень Федор Кунак, прозванный в деревне Фридрихом. Состояние покоя он до такой степени предпочитал действию,

что по воскресеньям, когда не полагалось работать, не ходил к хозяевам и завтракать и оставался в постели один в запертой казарме, голодный до обеда. По той же причине он не любил умываться и когда по праздникам Максим убеждал его побриться, то после бритья та часть его физиономии, где перед этим было размазано мыло, заметно отличалась цветом от тех мест, где мылить не полагалось. Из той же самой лени он заставлял других писать за себя письма на родину, хотя и сам был хорошо грамотный, написанное тоже не читал, таким образом и случилось однажды, что он сдал к отправке письмо к отцу, которое ради шутки товарищ подписал: „Остаюсь любящий вас сын ваш Фридрих", и очень был удивлен, когда через несколько месяцев из глубины Сибири получил от отца ответ, полный упреков по поводу перемены им имени и вероотступничества. Над этой историей смеялись, смеялся и сам Фридрих, но втайне беспокоился и не без боязни думал о возвращении после войны домой к без малого проклявшему его отцу.

Фридрих был подражателен и имел детские черты характера. Он не мог удержаться, чтобы не покрутиться, если видел, что другие танцуют, но проделывал это в стороне, высокий, сутулый, несуразный. Или если Антон играл на гармонике, непременно около него оказывался Фридрих, с зачарованной улыбкой на лице и явно горя желанием купить себе точь-в-точь такую же гармонику и научиться играть на ней, как Антон. В известный момент он не выдерживал, протягивал руку к гармонике и говорил:

— Дай мне...

Просил он по-детски плаксиво и привык, чтобы на его просьбы не обращали внимания.

Если вечером за столиком начиналось очко, то Фридрих мгновенно проникался интересом к игре, горящими глазами смотрел на игроков и пристраивался к столику. Если было мало места, ему попросту говорили, чтоб он очистил место для другого, потому что считалось грешно обыгрывать его, а также потому что, проигравшись, он способен был вымотать душу, канюча у кого-нибудь полмарки на отыгрыш.

Однажды кто-то из команды, прочитав объявление в газете, выписал себе книгу из заграничного русского издательства. Вожделения Фридриха и весь его жар направились в эту сторону. Он преодолел затруднения, связанные со сбережением денег, писанием заказа и отправкой его на почту, для чего должен был задабривать мальчишку немца, своего подручного, и не успокоился до тех пор, пока на его имя не была получена книга, точь-в-точь такая же, как у товарища. Таким образом и получилось, что в казарме, в которой не было никаких книг, единственная имевшаяся книга была в двух экземплярах.

Самым элегантным из пленных был Тоня. У него была стройная фигура, изогнутый нос и офицерский взгляд. Непонятным образом, он, единственный из команды, при самых неблагоприятных условиях, сохранил привязанность к фиксатуару, бинтам для усов, надушенным платочкам и даже к сардинкам, которые он, бывая иногда по воскресеньям с провожатым в городе, покупал на ничтожный свой заработок. Как раз этот его элегантный вид и в особенности сардинки стави-

лись ему его хозяевами в вину, как признак заносчивости и тайных претензий, неуместных в пленном. Конвойный был с ними согласен, и бедному Тоне, виновному только в элегантности, попадало от него даже прикладом. Тоня возмущался, пытался жаловаться фельдфебелю, но конвойный дал объяснение, что один раз он учил Тоню за то, что тот бил лошадь и даже сломал о нее грабли, в другой раз за то что в цебере для коровы Тоня мыл свои клетчатые носочки, в третий раз — хлопнул дверью после разговора с хозяином. Все это были факты, и над Тоней с его жалобами только посмеялись. Тоня терпел гонения, но изысканного вида своего не терял, разве что сардинки стал покупать и поедать тайком от хозяев.

Откуда была у Тони эта его неистребимая приверженность к парфюмерии и гастрономии, было непонятно, потому что в остальном он был парень как все и даже не чересчур грамотный. Но однажды пустился он в воспоминания и, между прочим, вспомнил, и чуть не со слезами, какого-то консула в Крыму, у которого он служил камердинером. Возможно, что именно тут-то он и видел те недосягаемые образцы изящества, ради одного воспоминания о которых готов был терпеть что угодно.

Тоня со своим орлиным носом и якобы небрежными кудрями был красив, и естественно у него были поклонницы из немецких девочек, готовые на многое, если б время и место позволяли. Тоня оставлял их в пренебрежении и сам пропадал от безнадежной любви в другом месте. Иногда он просил Снеля написать по-немецки ту или иную

записочку. Снель писал с его слов записки вроде: „Что значит твое молчание?“ или „Будь со мной как прежде, открой мне все“, и полагал, что это относится к соседской девице. Но однажды его попросили написать: „Я беспокоюсь. Неужели тебя снова отправляют на фронт“, и тут уже он удивился и спросил, кому собственно записки предназначаются. Тоня, краснея, ответил, что они пишутся для Карла, хозяйского сына, молодого человека призывного возраста, к которому он чувствует какую-то нежность.

Снель при этом признании посмотрел на Тоню несколько новым взглядом, удивляясь, что такие вещи случаются, и особенно, что это случилось в Комице, среди скуки и уныния, с военнопленным, которому раз в неделю попадает прикладом по спине.

Жизнь Тони в Комице была постоянным волнением. Его чувства шли из души. Он любил, терпел гонения, и это отличало его от товарищей, старавшихся жить как можно незаметнее, чтобы только отбыть как-нибудь постылое время.

Был еще в команде Мефодий, человек с прошлым приказчика по лесной части, любитель ходить в жилете поверх рубахи с цепочкой по груди и знаток многих комических граммофонных пластинок. Он не пользовался симпатиями товарищей за то, главным образом, что, напившись сам, любил куражиться над теми, кому напиться не удалось — сам пил, а другим пробку давал нюхать. Неприятным свойством его была также претензия давать людям прозвища, обычно самые неподходящие, и обижаться, когда прозвища не прививались. Одного парнишку-немца, прирожден-

ного комика, Пауля Юнге, он прозвал Столыпиным, и, когда слышал, что другие все же называют его Паулем, кричал: „Ведь он же Столыпин! Ведь я же прозвал его Столыпиным!“

Остальные члены команды подобрались из казанских татар, живших в своем углу и заявлявших себя лишь за картами. Обо всех четырнадцати пленных, живших в казарме, можно было без ошибки сказать, что все они чувствовали себя в Комице скорее страдальцами, каждый подумывал кое о чем запретном и питал более или менее отдаленные мечты летом удрать за горы, видневшиеся не очень далеко в хорошую погоду. Горы — это были Судеты — назывались по памяти японской войны сопками, а о человеке, который бежал в горы, говорилось — ушел сопки проверять...

6.

После того, как первое заявление старика в инспекцию потерпело неудачу, Фурманы поняли, что отделаться от Снеля не так-то легко, и направили усилия в другую сторону: стали искать, как бы обменять его на другого пленного внутри деревни. В другом конце деревни была еще одна команда пленных и были хозяйства с тремя, с пятью пленными зараз, и казалось, что если из артели взять одного хорошего и подсунуть Снеля, то не будет вреда никому, и может быть найдется хозяин, который согласится на это. Однако, желающих произвести такой обмен пленников не нашлось. Дело велось втайне от Снеля. Действовали больше Анна и Хедвиг и иногда по

этим делам куда-то исчезали. Старик не путался в переговоры и попросту хандрил. По некоторым взглядам, по выражению глаз Анны и сопоставив с этим различные приходы и уходы, Снель всегда мог догадаться, как обстоит его дело в каждый данный момент — дана ли Фурманам где-нибудь какая-нибудь надежда или отказано начисто. Кроме того, конвойный, обедая в свой день у хозяйки Антона, пускался в откровенности, а Антон вечером передавал Снелю проекты, которые создавались и разрушались насчет его особы. Дело так долго оставалось в неопределенном положении, что конвойный, говоря о нем с Фурманом, принимал печальный вид и называл его: „Эта в высшей степени тягостная история“... „Эта гнилая канитель“, — поправлял его старик.

Лицо у Анны было такое, что тайное очень скоро становилось явным, если она хотела что-нибудь скрыть. Снель удивлялся, как много волнения, отчаяния, ожидания, мечтательности вызывала в ней эта „в высшей степени тягостная история“. Хедвиг за целый год не удалось бы изобразить на своем лице столько различных чувств, сколько обнаруживалось у Анны за несколько дней. Переходы были резкими: улыбнувшись, она принималась плакать, то была в подавленном состоянии, то оживлялась. Пустяковые военные хитрости, предпринимавшиеся для того, чтобы держать Снеля в неведении, она выполняла с таким лицом, точно была участницей заговора на жизнь и смерть, с потрясающими волнениями и перспективами.

— Что это за женщина приходила сегодня во двор? — спрашивал Снель после странного ви-

зита какой-то почтенной женщины, которая в сопровождении Иоганны обошла двор и очень долго простояла в коровнике, глядя как Снель работает.

— Какая женщина? — пугалась Анна до пятен на лице, видя какую-то свою махинацию разоблаченной.

— Та, что заходила в коровник.

— Она, — лепетала Анна, путаясь от смущения, — приходила покупать... гуся...

А потом бежала на кухню предупредить мать и Хедвиг, чтобы они тоже говорили Снелю, будто женщина приходила за гусем, если он спросит. Снель же знал, что фамилия женщины была Хауке, что у ней работают двое пленных татар из команды, что ее просили обменять одного из них на Снеля; и она приходила смотреть работу Снеля, осталась им недовольна и отклонила предложение.

Или Анна в то время, как они отбирали в подвале картофель, начинала мечтать вслух, что будет, когда наступит весна, и что каждый будет делать. Снелю она тоже назначала кое-какую работу: направлять сеялку, косить клевер и многое другое, но делала это с натяжкой и нечистым выражением невинных глаз. Это происходило оттого, что совсем недавно, два дня назад, было послано о нем новое заявление в Бреславль, каллиграфически написанное Анной под диктовку старика и содержавшее преувеличения и даже клеветы на его счет, лишь бы добиться положительного ответа. Снель знал это и то, что на самом деле Анна меньше всего думает о том, как он будет косить клевер и направлять сеялку, и ошарашивал ее неожиданным вопросом: „Сколько

дней идет письмо до Бреславля", вопросом, от которого, несмотря на его невинность, Анна терялась до слез, точно уличенная в чем-то очень нехорошем.

Старик унывал. Он все больше укреплялся в мнении, что Снель просто-напросто глуп, и завел с ним соответственное обращение: говоря ему что-нибудь, повторял одно и то же по нескольку раз короткими фразами, да еще и в глаза ему смотрел и спрашивал, понял ли он его. Кто-то внушил ему, что для того, чтобы обменять один неудачно приобретенный предмет на лучший, надо, чтобы предмет был доставлен обратно в непопорченном виде. Он стал оберегать Снеля от разных случайностей. Вначале он приспособил Снеля носить воду и сено лошадям, но, когда лошади прижали его однажды к стене, брыкаясь, он запретил ему входить в конюшню. Когда соломорезку крутили конным приводом, а Снель, отгребая и отступая задом, слишком близко подходил к ремню, старик в ужасе манил его пальцем к себе, боясь, как бы его не втянуло и не размолотило в этой пустяковой машине.

— Я отвечаю за тебя юридически и материально, — говорил он словами инструкции. — Я не могу допустить этого.

А однажды во время молотьбы, когда сверху бросали снопы и Снелю попало по голове, а он еще потом поднял голову и посмотрел вверх навстречу новому снопу, старик остановил машину и заявил, что так дальше продолжаться не может.

— Анна, — сказал он жалобно, — объясни ему, меня он не поймет.

Анна с одушевлением объяснила ему, что надо быть очень осторожным и в то время, когда бросают снопы, ни в каком случае не смотреть вверх, а самое лучшее держать глаза полузакрытыми, потому что зерна отскакивают с силой и могут выбить глаз. К этому она кстати прибавила несколько слов о хождении по сеновалам, где иногда не видно, что под сеном нет доски, и можно провалиться.

После неудачных попыток первого дня Снель понемногу научился носить мешки. Первый взваленный им на себя мешок был событием в доме, вся семья сбежалась посмотреть, как он будет подыматься по лестнице, и хотя их овации были скорее ироническими, а Снель на самом верху задохся и долго не мог отдышаться, в дальнейшем дело пошло бы лучше. Но старик объявил ему, чтоб он больше не подставлял спины под мешок, потому что это не его дело. Ему точно нарочно хотелось сделать Снеля еще бесполезнее, чем он был в действительности, чтобы иметь право писать о нем бог знает что в инспекцию, а в разговорах на улице говорить о нем вещи вроде:

— Представьте только себе. Моя дочь, моя младшая дочь, подымает и носит мешки, а этот оболтус не в состоянии. У него хребет, видите ли, устроен иначе...

И дальше о нем же:

— Он знает, чорт его побери, грамматику, но ни в жизнь не поймет сеялки. Вот какой это удивительный парень... Между тем он съел весь мой запас картошки...

Анна опекала Снеля в других отношениях. Она расстегивала его воротник и смотрела под куртку.

— Вальдемар, — говорила она значительно, — ты опять не надел теплой рубахи, что я тебе дала.

— Не надел, — говорил Снель с удивлением. Никто никогда в жизни не интересовался, что и в какую погоду он надевает, и такая заботливость трогала и озадачивала его.

— Вернись в комнату и надень, — настаивала Анна. — Сегодня такой ветер. Ты простудишься...

— Пустяки... — возражал Снель небрежно, сразу входя в роль человека, о котором заботятся. — Я привык.

— Совсем не пустяки... — убеждала Анна чуть не со слезами. — Сделай это ради меня, Вальдемар.

— Если по-твоему это так важно, — соглашался Снель, — то, конечно...

— Пойми, — вела свою мысль Анна, — если ты простудишься, тебя положат в лазарет...

— Ну... — ждал Снель, начиная догадываться, что конец будет для него неожиданным.

— А если тебя положат в лазарет, — кончала Анна со всей своей невинностью, — нам уже на твое место никого не дадут...

Снель падал с облаков, видя истинную причину ее заботливости, раздражался и укреплялся в мнении, что если он все-таки не посмотрит ни на что и убежит от этих грубых эгоистов, то это будет только справедливо.

Присутствие Снеля раздражало старика. Он был совсем не угрюмый человек и многими даже считался самым бойким и обходительным старичком в деревне, но теперь дома, точно в присутствии враждебной силы, он ежился, отмалчивался,

раздражался. Случалось, что он возвращался из компании в слегка возбужденном виде, нетвердо выступая важной петушьей поступью, и Анна встречала его рукоплесканиями и криками: „Vater commt! (Отец идет!)“. Это было ее обыкновение в детские годы встречать его так. К ласковым нотам в ее манере прибавилось с тех пор не мало иронии и лукавства, но старику они напоминали что-то необыкновенно приятное. Он задумывался, лицо его готово было дрогнуть нежностью, но на глаза ему попадался Снель с своим рассеянным и чуждым взглядом, и лицо старика менялось, он отворачивался и молча шел в комнаты...

Когда кончали молотьбу, старик отобрал последние снопы для двух утренних туров и сказал, что-то, что останется, будут молотить отдельно. Он запряг лошадей в ворот и пустился в свое обычное путешествие по кругу, покуривая трубку, хмурясь. Внутри же гумна в это время Анна, с загоревшимися глазами предлагала Хедвиг и остальным устроить небольшую комедию, смолотить все до последнего колоса, так, чтоб старик этого не заметил, и, поставив его таким образом перед совершившимся фактом окончания молотьбы, поздравить его соответственно. Антон стал у барабана, Снель у стола, а Хедвиг и Анна действовали так быстро, что успевали и вязать из-под машины, и перелезать через загородки, подтаскивая из всех углов оставшиеся снопы. Снель проявил при этом даже некоторую ловкость, заразившись от Анны ее оживлением. Даже ее страх, как бы старик раньше времени не заглянул в дверь, передался ему. Так мило отражался он на ее лице.

Старик ходил и ходил по кругу, покуривая, постегивая лошадок, ворча, что тур что-то очень затянулся. Но он остановил ворот и вошел в шойну только тогда, когда заметил, что барабан работает впустую, а в дверях стоят дочери с платками, а Снель и Антон, с шапками в руках, поздравляют хозяина с окончанием молотьбы и требуют на выпивку:

Hoch, Führmann, hoch!
Soll er leben!
A Liter soll er geben!

В глазах Анны, его любимицы, было столько лукавства, когда она стояла перед ним, что ему оставалось только рассмеяться, поняв, в чем дело, и около губ его уже складывалась улыбка, но опять на глаза ему попался Снель, чужой, иронический, никчемный человек, и вместо улыбки обиженное выражение появилось на его лице и, ни слова не говоря, он вышел из шойны и пошел в дом, а потом за обедом раздраженно говорил, как было неостроумно менять его распоряжения и по каким именно соображениям было важно смолотить последки отдельно...

Видеть Снеля напротив себя за столом было старику тяжело. Он даже изменил своему обыкновению, насытившись сидеть за столом и посматривать в окно, пока все не кончат есть, и теперь, в две минуты проглотив свои куски, вставал и уходил, чтобы не видеть, как этот неприятный человек, который и за стол садился не перекрестившись и ломтя хлеба не мог себе отрезать как следует, поедал его картошку, намазывая ее смальцем с усердием совершенно неприличным.

Существовало правило, что резать хлеб надо через весь каравай, ломтями не очень толстыми и не очень тонкими, а как следует, в меру, то что называлось „ordentlich“. Затем ломоть надо намазать маслом весь сразу, разрезать пополам, половинку наложить на половинку и в таком виде есть. Вся деревня поступала таким образом, точно это было где-нибудь написано, а Антон выполнял все это с такой отчетливостью, словно это были ружейные приемы; закончив же всю операцию и наложив половинку на половинку, он даже оглядывался, словно могло последовать одобрение.

Снель не знал, что такое правило существует, резал ломти наудачу, маленький и безымянный пальцы у него иногда были скрючены от продолжительного неправильного держания пилы на холоде, так что он не мог себе отрезать вообще никакого ломтя и просил резать других, мазал он иногда хлеб не сплошь, а отрезая по кусочку, что для старика было яд... Старик не был скуп, но такое поведение Снеля было неприличием и возмущало его душу. И однажды, когда Снель рассеяннейшим образом намазывал маслом крошечные куски хлеба, старика прорвало:

— Нет, я должен ему сказать... — заговорил он с огнем негодования в глазах, хотя Анна, которая понимала, в чем дело, цыкала на него, как на гуся. Снель, видя, что и на этот раз он был причиной возмущения старика, удивился.

— Опять не слава богу? — пробормотал он с неудовольствием по-русски. В ссорах он всегда переходил на русский язык.

— Ну, в чем дело? — обратился он к старику ласковым тоном, каким говорят с капризными детьми. Он с некоторых пор усвоил себе эту манеру говорить со стариком в противовес обыкновению старика говорить с ним, как с идиотом.

— Меншенскинд! — сказал старик подавленным голосом. — Не в моих правилах учить, как надо есть, людей, сидящих за моим столом, но я вижу, что я должен это сделать...

И он срывающимся голосом сказал дальше, что резать хлеб надо „ordentlich", мазать „ordentlich", есть „ordentlich".

Он схватил каравай и на примере показал, как это делается. Он отрезал ломоть, намазал его и положил перед Снелем.

Снель молча откинулся от стола. Он еще дожевывал свой маленький кусочек, намазанный маслом, тот самый, что вызвал возмущение старика, и неожиданно почувствовал, как этот самый кусочек вдруг стал горьким, и его стало трудно проглотить. Анна плакала.

Это был безусловно самый худший момент его здешней жизни, и если после него он не убежал в горы тут же с места, так только потому, что стояли морозы, бежать было глупо, и, кроме того, Анна смотрела за каждым его шагом.

С некоторых пор старик полюбил пропадать из дому. Он завел моду ходить по соседям, подолгу сидеть с трубкой во рту и цедить слова, а так как он говорил о своих незадачах и о том, какой плохой работник Снель, то очень скоро Фурман и его пленный вошли в известность, и над ними стали посмеиваться. Анна по некоторым намекам поняла, что отец играет смешную роль,

и с тех пор, если отец уходил, она смотрела, куда он пойдет, а потом через четверть часа приходила и звала его домой по важному делу. Старик шел по улице вслед за Анной, своей важной поступью, изображая на лице озабоченность. Дома ему объявляли, что доктор прописал ему спать после обеда и укладывали на диван. Он покорялся.

Он сильно постарел со времени смерти сыновей. Снель стоял однажды во дворе, когда старики вместе с Хедвиг и Антоном садились в экипаж, чтобы ехать в гости в дальнюю деревню на весь день. Анна укутывала старика, Хедвиг—мать.

— Я не хочу красного шарфа, — говорила жалобно Иоганна, на которую Хедвиг тем не менее намотала этот самый шарф, завязав узлом сзади.

— Я не хочу наушников, — отбивался от Анны старик, хрипя и принимая свой грозный вид. Но наушники были на него надеты.

Они скоро подчинились ласковому принуждению дочерей и сидели невидные из-под платья, забывши, что только что чему-то сопротивлялись. Снель удивился, какими старыми и усталыми они ему вдруг показались.

Дома оставались только Анна и Снель. Это дало повод Хедвиг сделать вскользь замечание, что тут не обойдется без беды...

— Смотрите, ведите себя хорошо, — крикнула она с козел, — и не вздумайте ложиться спать. Мы приедем, все узнаем.

Антон, любивший намеки этого рода, задвигал пухлыми щеками, что-то добавляя.

Сани тронулись. Анна вскочила на запятки, просунув голову между стариками. Она прово-

дила их до ворот и там соскочила, сделав жест, будто выталкивает их со двора; свистнула, вернулась в дом, немного смущенная намеком Хедвиг.

Оставшись вдвоем со Снелем, она меньше всего думала о том, чтобы ложиться спать. Поведение ее однако было странным. Прежде всего она сказала, что ему совсем незачем торчать во дворе, пусть сидит на кухне. Затем она нашла, что ему необходимо снять куртку и отчистить сальные пятна водой и утюгом. Сапоги также оказалось необходимым снять и поставить в печку, чтобы они хоть раз хорошо высохли. На ноги она дала ему деревянные выдолбленные туфли, в которых шагу нельзя было ступить без боли, так что оставалось только сидеть. При всем том она двигалась около праздносидящего и покуривавшего Снеля, задевая его, и имела беспокойный необычный вид. Учтя все эти странности, разнеженный теплом, Снель и в самом деле вообразил, что он накануне чего-то, тем более, что и раньше он слышал от Хедвиг, что Анне он не неприятен.

И только попозже он сообразил, для чего все это было сделано. Анна, которая ждала каждую минуту, что он несмотря ни на какие морозы, убежит от них, оставшись с ним одна, была бы беспомощна, если б он действительно вздумал сделать это. Для этого ей и понадобилось держать его в кухне у себя на глазах, для того же самого потребовалось оставить его без куртки и сапог, потому что человек в таком виде наверное не сделает ни шагу из дому

И если при всем том ему удалось каким-то образом ее поцеловать, то бог знает, где тут кон-

чалась ее дочерняя любовь к старикам, во имя которой она приносила эту небольшую жертву, и начиналась та склонность к Снелю, о которой говорила Хедвиг.

Когда старики вернулись, Иоганна посмотрела на Анну и Снеля внимательно.

— Надеюсь, — сказала она не без значения, — тут ничего не случилось?

Снель молчал, глядя на нее удивленно. Анна доставала в это время из печки его сапоги. Они были совершенно сухие, их можно было надевать. Куртка также была вычищена и выглажена. Старуха перевела взгляд на ноги Снеля в огромных обрубках.

— Да, — продолжала она с мелькнувшей улыбкой, — я вижу, что с вами ничего не случилось. Ничего и не должно было случиться.

Снель только тогда понял, что вся эта история была условлена.

7.

Самым лучшим днем в неделе было воскресенье, вернее вечер субботы, потому что тогда целый день отдыха был еще весь впереди. В этот вечер и лампа в казарме горела светлее, и люди, возвращаясь от хозяев с чистым бельем под мышкой, выглядели благостнее, и в очко в этот вечер играли не с той изуверской поспешностью, как в будни. С началом воскресенья этот день покоя, казавшийся неисчерпаемым, стремительно убывал; кроме того воскресенья редко оправдывали ожидания и, прожив этот день, человек сам удивлялся,

почему всю неделю он ждал его с таким нетерпением.

В воскресенье будили позже. Многие успевали сами проснуться к тому времени, когда конвойный отворял дверь. На завтрак к хозяевам ходили все, только Фридрих выканючивал разрешение остаться в постели, пренебрегая для этого завтраком. От хозяев большинство возвращалось лишь после обеда, чтобы не ходить взад и вперед, но Снель и Максим, окончив завтрак, обязательно являлись в казарму.

В казарме еще оставался запах ночевавших людей. Когда открывали форточку, Фридрих начинал хныкать и шевелиться под одеялом. На него прикрикивали и накидывали лишнюю шинель. Максим садился за починку чего-нибудь из одежды. Снель залегал на свое место с намерением почитать. У него под тюфяком валялся старый немецкий календарь на 1908 год, в котором были шарады религиозного содержания и десять рассказов, написанных по числу заповедей. Сверху жирным была напечатана самая заповедь, потом шли тексты от Матфея и от Луки и примеры из жизни благочестивых людей. Снель читал все подряд, довольный уже тем, что перед ним были печатные строки. Утомившись чтением, выпускал календарь из рук и лежал просто так, радуясь, что может лежать, ничего не делая, и сам, если вдумывался, презирая себя за свою радость.

Фридрих часам к десяти начинал беспокоиться под одеялом, не то собираясь вставать, не то раздумывая делать это. Обычно, в будние дни, он к этому времени уже успевал проглотить и первый и второй завтрак, и теперь пустота в желудке

делалась заметной. Он вставал в конце концов, хныча надевал штаны, с омерзением смотрел на сапоги, которые еще предстояло надеть, почти падал духом перед этой необходимостью, ободрялся, сопя наматывал кислые портянки. От малейшего ветерка бубнил, сжимался, прикрывая себя руками по-бабьи. Вообще напоминал картину, где какого-то верзилу обсела нечистая сила. Хныча искал воды умыться, а потом вытирался первым попавшимся концом, с таким видом, точно терпел мучения.

— Что? — говорил Максим, наблюдая его, — оголодал? Будешь теперь ходить на завтрак?

— Буду... — отвечал Фридрих с сознанием вины. — Жрать хочется.

Все воскресенья, какие были, пока они жили вместе, задавал Максим Фридриху этот вопрос и получал от него в ответ то же самое обещание, которое к следующему воскресенью им забывалось.

На подоконнике под мыльцем для бритья лежало маленькое синодское евангелие. Фридрих брал его и с остервенением принимался читать, шевеля губами, но быстро прерывал себя вопросом:

— Долго еще до обеда?...

— Часа полтора подождешь, — говорил Максим не без соболезнования.

— Чорт!.. — восклицал Фридрих и больше не читал, но нес евангелие Снелю, находя, что это скорее по его части, и видя, как тот, читая евангелие в сотый раз, быстро перебирает маленькие странички, восторгался:

— Смотри, смотри, как листает, — говорил он Максиму: — Что за человек! Ах, что за человек!

Максим, окончив починку, брался за балалайку. Репертуар его каждое воскресенье повторялся в той же последовательности. Для каждой песни был свой голос и свое выражение лица, и можно было ручаться, что в известном грозном месте он затренькает и оборвет как раз с такой силой, с какой делал это и неделю и месяц тому назад. Начинал он с чего-то конвойно-почтальонского:

Однажды мне отдал начальник приказ
Спешить поскорее на почту.
Я вырвал пакет и скорей на коня,
Помчался по снежному полю...

Фридрих иногда тоже напевал эту песню, но у него все слова выходили одно на одно и звучали, как слезница. Один Максим умел петь с такими тонкими оттенками, что при слове „начальник“ представлялось, что кто-то стоит перед кем-то во фронт, а в словах: „Я вырвал пакет“ прямо уже звучало что-то изуверское.

Кончив эту песню, менял унтер-офицерское выражение лица на задушевное и голос пускал тоньше:

Кончив курс своей науки,
В дом родительский попал...
Э-э да и я просил у отца благословенья,
Э да и он мне его не дал...

И опять слушатель, глядя на Максима, начинал видеть, что перед ним как раз и сидит тот человек, который, кончив курс своей науки, просил у отца благословенья и его не получил.

„Друзья..— переходил Максим на другой трагический лад:—

...пред вами сознаюсь:
Сеэстру родную полюбил...
Всегда преследовал за ней...

Отворялась дверь, входил юный комик Пауль, которого никто не хотел звать Столыпиным, и уводил на обед Фридриха. Приходила солдатка из двора Фишеров и уводила Максима. Анна, ежась на морозе в праздничном платье, не входя в казарму, вызывала Снеля.

Праздничный обед вкушался во всех домах деревни почти в одно и то же время, сейчас же по приходе из церкви. Одни из пленных ели досыта, другим давали мало, а были и такие, которым давали достаточно, но они отказывались, стесняясь своего чрезмерного аппетита и приноравливаясь к тому, как ели другие за столом. Но все без различия, воротясь с обеда в казарму с куском хлеба с маслом на феспер, съедали этот самый хлеб сейчас же по приходе, через десять минут после обеда, подержав его немного над горячей железной плитой, отчего масло проходило насквозь. И все признавались, что за всю неделю ничего не ели с большей охотой. Причина была та, что этот хлеб был единственной пищей, которая елась ими не на глазах у хозяев, а на полной свободе среди своих.

После обеда все должны были быть налицо, и тут дело в казарме принимало другой оборот. Картежники — одна и та же компания — входя, оглядывались на стол у окна и на сидящих там. Заправилами здесь были Антон и Максим, каждый

со своей манерой вести дело наверняка. Максим бил на психологию, тонко разбираясь в оттенках, с каким противник, купив карту, говорил: „довольно“; он очень ловко замечал разные искорки, которые мелькнут при этом у противника в глазах и сейчас же сменятся серьезным и как будто бы непроницаемым выражением, чтобы затушевать первое движение и обмануть его, Максима, психолога, который если не обыгрывал всегда и всех дочиста, так только потому что сам этого не хотел. Сам же, покупая, выдерживал паузу, смотрел банкомету в глаза, давил его непроницаемостью. Шедевром его был случай, когда, купив к двойке валета, он ответил „довольно“ с такой безмятежностью, что противник с девятнадцатью на руках отчаялся и прикупил к ним десятку.

У Антона был другой метод: он старался запомнить все выходящие карты из большой талии и рассчитывал, чего можно было ожидать от банкомета. Это требовало напряжения памяти и держало его в волнении, но редко случалось, чтобы догадки его оправдывались. Обыкновенно он в конце концов запутывался, и многозначительная улыбка исчезала с его лица вместе с начинающимся обмелением его карманов. Один раз он выиграл много, когда принес с собой и пустил в игру наколотые карты. Работа была грубая, наколку в конце концов заметили, но только посмеялись над этим, как над ловкой штукой, и никто не подумал требовать от Антона назад проигрыш.

К некоторым вещам вообще, которые в других местах считались позорными, здесь относились с равнодушием. Например, было известно, что один

из команды шпионит конвойному, что говорят его товарищи и не собирается ли кто-нибудь бежать, за что получает брюки с лампасами и сапоги сверх всякой меры. Что его деятельность отзывалась кое-на-ком побоями, было заметно; что у него четверо брюк и трое сапог, было тоже заметно, но относились к нему не хуже, чем к другим. Дело в том, что конвойный обращался с предложением помогать ему информацией не к нему одному, а почти к каждому в отдельности, и никто прямо не отказывался, но все тянули, водили его за нос, врали что придется, за исключением одного, который как будто принял дело всерьез. Не было у пленных времени, чтобы разобраться в этом деле как следует, да и небезопасно это было. Максим однажды потребовал внимания команды и начал что-то на этот счет, но встретил равнодушие и смолк. Мало кто его даже и понял, потому что говорил он обиняками, понятными лишь посвященным. Большинство же только покривилось, не желая и догадываться, в чем дело. В деле побегов все так таились друг от друга, что не желали и звуком и намеком выдавать себя.

— Шут с им, — говорил один, отводя глаза. — Нам не бежать!

— Туды его мать, — добавлял другой. — Нам и тут хорошо...

Проигравшись, Антон некоторое время еще стоял у стола, наблюдая карты. Странным образом, как раз в то время, когда у него не было денег, его память прояснялась, и он довольно ловко по ничтожным отличиям рубашки называл и королей и дам и что угодно.

Карты здесь были нерусские, черви вместо сердец изображались жолудями, а пики виноградными листьями. Пики в команде назывались винями, а дамы кралями. Карты сдавались не сверху, а выковыривались из под-низу корявыми пальцами, негибкими от работы на холоде. Только Антон и Максим отличались некоторым проворством пальцев.

Были еще карты военные, где тузов изображали Вильгельм, Франц-Иосиф и Фердинанд болгарский с турецким султаном, королями, дамами, валетами были Гинденбург, Людендорф, Макензен и другие по порядку вплоть до лейтенанта Веддигена и хауптмана Бельке. Их называли старики, средние, молодые и валили в общую кучу, не интересуясь, кто они такие собственно были.

В другом углу Тоня собирал желающих играть в очко на пфенниги. Желающих было немного, потому что игра не вызывала волнения, из-за стола вставали по пустяковым поводам и больше не возвращались, но Тоня волновался и, проиграв кому-нибудь пфенниг, говорил жеманно:

— Фи, гадкий, опять выиграл...

Чтобы не терзать себя понапрасну, Антон выходил в конце концов из игры и брался за гармонь. Играл он чисто, без фальши. Начиная с чего-нибудь длительного и многогласного.

Ревела буря. Дождь шумел,
Во мраке молния блистала...

Но скоро ему надоедало подыгрывать Мефодию, который в этой песне вытягал, и он переходил к вещам попроще:

О, моя кохана,
Покажь мне коляна,
Покажь мне обои,
Чи таки як мои...

Была еще одна песенка с простенькой мелодией, слов которой никто не знал, но которая нравилась больше других. Из начала было известно, что речь идет о Насте. Из конца знали припев:

За колечко, за колечко, за колечко, за кольцо!..

Текст пели без слов, бубня как придется, но припев подхватывали все хором и с одушевлением.

Филька с молотком и колечком на палочке присаживался к Снелю, заводя игривый разговор и перебирая разные нации.

— Снель, — спрашивал он между прочим, — ты имел когда дела с японками?

— Нет, — говорил Снель. — А что?

Филька в ответ взглядывал на него значительно и даже с упреком.

— Они вежливы... — говорил он с таким ударением, точно уличал Снеля в непонимании простейших вещей.

Привлекало его в японках то, что они были маленькие, а он большой, они чистенькие и надушенные, а от него шинелью и сапогами пахло, что, придя к ним, он не знал, как сесть, и дураком себя чувствовал, а они папиросами его угощали и бумажные салфеточки дарили.

Из других его воспоминаний неожиданно выяснялось, что он некоторое время был даже курильщиком опиума, что выходило несообразно,

если ошарашенный слушатель взглядывал при этом на его совсем не экзотическую, ухмыляющуюся физиономию.

— Народ здесь неправославный, — говорил Антон, присаживаясь к ним с своей улыбкой веселого парня. — Живу и удивляюсь. Когда едят, п..., и чем громче, тем считается лучше. Случилась со мной такая внезапность на гумне при всех, я чуть со стыда не сгорел, посмотрел, а девицы хохочут, в ладоши хлопают, довольны. Кричат: „Ах Антон! Ах, этот Антон! Как он п... Как он смердит!“.

— И как к девице подойти—тоже не знаешь,— вел Антон дальше. — Намедни насыпал я нашей Иде половы под юбку—отряхается, ржет, довольна. А потом взгрустнулось мне, обнял я ее по-человечески, как сестру свою обнимал,—обиделась, да так обиделась, что едва спасся.

— Не ври особенно...—вставлял Максим. Он работал через двор от Антона и знал его обстоятельства.—Если ты когда и спасался от Иды, так совсем по другой причине. Уж очень она на тебя наседает.

Антон этого не подтверждал, но и не отрицал. Он был единственный из команды, у кого была открытая любовница. Большинству время и место решительно не позволяли этого, и очень многие жили в безбрачии, кто два года, а кто уже и три. Филька, работавший вместе с тремя товарищами, жил в особо пакостных для этого условиях, но однажды склонил на любовь хозяйскую стряпуху, расставил товарищей вестовыми на случай появления хозяев, а сам уединился с ней в конюшне. Стряпуха была девица бойкая, но, хуже всякой

небойкой, зараженная страхом перед хозяевами, а так как она находилась в конюшне, где ее присутствие ничем нельзя было объяснить, то она прежде всего стала думать, что она скажет, если ее увидят выходящей оттуда, и при этом волновалась до обморока, а Филька метался около, успокаивая ее и улещивая. На это и ушли те короткие минуты, которыми можно было воспользоваться. Ближайший вестовой постучал в дверь, извещая об опасности, стряпуха стрелой вылетела из конюшни, и Филькины труды пропали даром.

— Ну, а как твои дела, — спрашивал Антон Снеля с заметным интересом. — У тебя их там две. Неужели не перепадает?

Снель качал головой.

— Даже с Хедвиг? — удивлялся Антон.

— Даже с Хедвиг, подтверждал Снель. Если б он даже и соврал что-нибудь насчет Хедвиг, это бы их мало заинтересовало. Им хотелось услышать что-нибудь насчет Анны, с ее невинностью и миловидностью представлявшей загадку, единственную интересную загадку в деревне.

— Нет! — говорил Максим, наблюдая Снеля своими жадными до правды глазами. — До тебя у Фурманов Семен жил. Он их обеих в струне держал. Они у него около ног вились... А про Хедвиг говорил, что она девица объезженная...

Снель настораживался.

— Ты не такой человек, — добивал его Максим, — ты не можешь...

Что касается Семена, то Снель слышал о нем много. Это был должно быть очень сильный человек, показавший Фурманам очаровавший их фокус. В первый же день по приезде, он, рубя дрова

всадил топор концом острия в большое полено, поставил топорище себе на кончик пальца и продержал все сооружение стоймя столько времени, сколько было нужно, чтобы очаровать Фурманов до беспамятства. Правда, проделав этот фокус, он сейчас же отправился на сеновал отдохнуть и отдыхал на нем почти сплошь два месяца, не переставая быть предметом обожания со стороны Фурманов, потому что они знали, что, когда придет время, он покажет себя, что он может...

Однако через два месяца он напился пьян и изругал немецкого фельдфебеля, за что был отправлен в лагерь, а на его место к Фурманам спустя много времени прислали Снеля.

Тоня, партнеры которого окончательно разбегались, принимался гадать на картах, при чем и он и желающие узнать свою судьбу с ходом дела приходили в волнение и серьезность. Гадал Тоня формулами из Новейшего Соломона и выбирал из них больше такие, где обещалось мало хорошего для ближайшего времени и вознаграждение предвиделось лишь в отдаленном будущем. Он изображал каждому его жизнь так, точно она была скоплением запутанных интриг, где блондины противодействовали счастью слушателя с брюнетками, или наоборот, при чем и шатенок и рыжих тоже надо было остерегаться, потому что втайне они были враждебны и в самый последний момент могли стать на его пути. И, слушая такие его вещания, бывший урядник Чайка, приземистый седоватый человек, в задумчивости фельдфебельским жестом крутил свой сохранившийся пушистый ус, припоминая, какие такие блондинки и шатенки были в его жизни, и вдруг,

вспомнив что-то, менялся в лице, скорбел, крутил головой и говорил с настоящим чувством:

— Верно! Все верно!..

Иногда Тоня делал предсказания совершенно странные, вроде: „Во тьме вас страшно ушибут“, отчего у слушателя расширялись глаза и на лице появлялось опасливое выражение.

Во время гадания Тоня, по примеру цыган, не забывал время от времени прерывать предсказание и, левой рукой прикрывая карты, правую косячком протягивал слушателю:

— Позолоти руку...

Давали ему на позолоту пфенниг или два. Он взволнованно благодарил.

Мефодий, наскучив покоем и молчанием, принимался петь, сначала лежа на постели, вполголоса, для собственного удовольствия. Начинал он с „Разорившегося барина“.

В трактир, бывало, я явлюся,
Лакеи все ко мне толпой.
А нынче только покажуся,
По шее гонят, братец мой...

И „братец мой“ выходило у него такой великолепной скороговоркой, что ясно чувствовалось подражание какому-то граммофонному образцу. Затем шли куплеты о солдате с тридцатью копейками жалованья и с расходами на рубль тридцать. Эта песня называлась — „Стритца, бритца тоже надо“ и исполнялась, как и первая, с отделкой, но без большого чувства. Настоящее одушевление и нежность приходили к нему попозже, когда он запевал „Я опущусь на дно морское“,

Но только эти строфы в его исполнении приобретали дикий вид, он пел их так:

Я опущусь на дно морское,
Я подымусь за облака,
Я дам тебе все, все земное,
Лишь полюби, шельма, меня...

И как раз напирал на эту шельму, произнося слово со смаком.

Точно так же искажал он и другие известные строки:

Мы случайно с тобой повстречались,
Было много в обоих огня.
Мы недолго в сомненьях терялись —
Полюбила ты, стерва, меня...

Филька в углу рассказывал анекдот о монахине и купце на пароходе, при чем монахиню изображал игривой и делающей авансы, а купца благочестивым и сопротивляющимся.

— Преподобная монахиня,—говорил он за купца окающим клиросным голосом,—как мне разуметь вас? Вы, которая поете такие шикарные псалмы...

— Вскуе глаголешь, брате,—пищал он скороговоркой за монахиню.—Тайна сия велика есть...

В другом месте Антон изображал поучение с неба жителям земли и начинал с трубного звука:

— Тру-ту-ту!

— Кто трубит?—спрашивал он за жителя земли.

— Голос з неба...—отвечал он себе же с нерусским акцентом и этим же голосом произносил самое поучение, состоявшее из удачно скомбинированных, но отборных и непередаваемых выражений.

В углу шел разговор на тему, которой многие избегали касаться: о женах, оставшихся дома без мужей, на много лет. Кто-то определенно доказывал кому-то, что его жена не сохранит ему верности столько времени.

— Пустяки, — возражал собеседник, — я у своей, как уезжал, слона на животе нарисовал. Обязана сохранять до моего возвращения.

К сумеркам никому не хотелось лежать. Хотелось размяться. Затевали игры. Венчали Фильку с Тоней по церемониалу. Антон дьячковским голосом возглашал:

Как из Ганиной рощи
Выходили святые мощи...
Сам при кожаных штанах,
И щетинка в зубах,
Да и при фартучке...

Остальные по сигналу вопили:

— И-го-го!

Филька с Тоней целовались, после чего следовал заключительный припев:

Да исправится молитва моя,
Раскачается кадильница моя...
Тырли-мырли, калинка моя,
В саду ягодка малинка моя...

Пускались в пляс. Первенство тут принадлежало Мефодию. Он умел и выбегать и ногами выделывал как следует. Его недоброжелатели и тут находили недостаток, но только тот, что он малого роста.

Фридрих подражал ему и топтался один, где-нибудь в сторонке, огромный, несуразный, но красивый.

Привлеченный шумом и топотом, от которого внизу падала штукатурка, являлся конвойный, прекращал танцы и велел готовиться к выходу на ужин.

Праздничный день можно было считать конченным. Остаток дня проводили у хозяев, за уборкой скотины, за ужином, и хотя человек чувствовал в себе какую-то особенную неистраченную за день силу, конец дня немногим отличался от будней.

8.

В этот год весна не наступала долго. Больше всего снегу выпало как раз под пасху, и в первый день, чтобы итти в церковь, люди должны были прокладывать себе дорожки в снегу. Изречение народной мудрости: „Grüne Weihnachten, weisse Ostern“ [1]), напечатанное в календарях, подтвердилось блестящим образом. Его вспоминали в каждом доме, оно повторялось при всех разговорах на улице. В сущности, все разговоры при встречах и прощаньях и состояли из одного этого изречения, но произносимого с такими различными интонациями, что, повторенное каждым собеседником, оно производило впечатление какого-то обмена мнений. Кто-нибудь произносил его с юмором, приглашая полюбо-

---

[1]) Если на рождестве поля зеленые, пасха бывает на снегу.

ваться белыми полями на пасху, другой в ответ повторял его же, но со вздохом, третий вдруг выкрикивал то же самое с каким-то торжеством, давая понять, что он знал это заранее. У Фурманов его повторяла по всяким поводам Хедвиг и всегда при этом так умилялась, точно это были золотые слова, говорящие самой душе, к которым остается прибавить еще пару таких же изречений, чтобы ей хватило мудрости на всю жизнь.

Старик не искал утешения в пословицах, и никогда его хандра не была более глубокой, чем теперь. Анна каждое утро вспоминала, что они делали в этот самый день в прошлом году, и оказывалось, что тогда они уже отсеялись в тот день, в который теперь им приходилось пробавляться починкой заборов и щипаньем перьев. Старик от вынужденного безделья не находил себе места. Снель однажды, войдя в комнату, застал его у окна что-то бормочущим и глядящим вдаль на размытые поля с выражением старческой тоски на лице, из его набухших век слезы текли по щекам, а он их не замечал. Снель глубоко пожалел его в этот момент, потому что несмотря на все свои нелады с ним, он знал, что все-таки это самый лучший и справедливый человек в деревне, с руками поработавшими достаточно, чтобы ждать не огорчений и разорения, а покоя и мирного конца.

И вот как раз, когда уныние в доме стало угнетающим и затяжным, неожиданно стало известно, что по деревням округа ездит ревизор из инспекции военнопленных, который на месте разбирает заявления хозяев, и что его в ближайшие дни можно ждать в Комице.

Хозяева, у которых работали пленные, зашевелились. У Фурманов день прошел в разговорах украдкой и собирании слухов, а вечером, после того как Снель ушел в казарму, было изготовлено новое заявление, где повторялись все прежние аргументы и в трогательных выражениях указывалось на безвыходное положение семьи.

Снель, несколько дней спустя, работал в коровнике, когда в дверь постучали и сказали, чтобы он вышел наружу. При объезде деревни ревизор заглянул и во двор Фурмана. Это был майор из запасных, человек колоссальных размеров и с очевидным штатским прошлым. Он стоял во дворе, пробегая глазами заявление Фурманов, повидимому, не очень отличавшееся от сотен других поданных ему заявлений, потому что он не прочел его целиком, а где-то на половине сложил и вернул Фурману. Он посмотрел на приближающегося Снеля скучающим, но человеческим взглядом, что произвело на того впечатление приятной неожиданности.

— Ну, в чем дело? — спросил он старика, когда все оказались налицо.

— Герр майор, — начал старик с достоинством и, к удивлению Снеля, обнаруживая ораторские манеры. — Я стар. Оба мои сына убиты на войне. Мои дочери только слабые девушки. Если б у меня был сильный, настоящий работник, я мог бы надеяться, что хозяйство не пропадет. Но, герр майор, работник, который мне попался...

Тут следовала характеристика Снеля, содержавшая такие преувеличения его недостатков, что Иоганна впоследствии должна была изви-

няться за старика перед Снелем, говоря, что иначе он не мог поступить.

Белокурый подпрапорщик был тут же, но только теперь он совсем не был таким величественным, каким Снель видел его в канцелярии. Странным образом, за все время пока майор был во дворе, ни одна неожиданная, важная мысль не пришла подпрапорщику в голову, чтобы погрузить его в рассеянность и озабоченность. Он даже не позволил себе ни разу задуматься над чем-нибудь на полминуты, как это с ним то и дело случалось в бюро. Наоборот, он был весь внимание и, изогнувшись, откуда-то сбоку, почтительнейшим образом добавлял майору что-то от себя о Снеле, а майор с высоты склонял к нему ухо.

— Он ни на что неспособен, — говорил старик о Снеле. — Его бесполезность вопиюща. К сожалению, он умеет болтать по-немецки. Он всю зиму проболтал с моей младшей дочерью, но теперь наступает весна...

При упоминании о младшей дочери, Анна вспыхнула и смутилась так, что даже сделала движение скрыться в дом. Майор подавил улыбку.

— Для настоящей работы, — продолжал старик, — у моего пленного не хватает ни силы, ни... — он замялся и покосился на Снеля.

— Ни разумения... — окончил он голосом более глухим, чем остальное.

— Отчего же, — сказал майор с неудовольствием. — У него осмысленное лицо. Вообще, он совсем бравый парень...

— Герр майор, — вскричал старик, видя свое дело проигранным. — Обратите внимание на его

спину... С такой спиной он не выдержит косьбы. Я понимаю в этом кое-что, герр майор...

Он подскочил к Снелю и в своей невежливой манере собственноручно повернул его спиной к майору. Снель, видя его волнение, простил ему его неприятную порывистость. Он простоял, как его поставили, некоторое время, добросовестно демонстрируя свою спину. Когда ему это надоело и он повернулся, он увидел, что майор, отметив что-то в своей записной книжке, поворачивается к выходу, а подпрапорщик спешит за ним, успевая и делать знаки Фурману и забегать сбоку майора, что-то ему докладывая.

А еще через неделю пришла бумажка, по которой Снель подлежал переводу в другую деревню в артель Мая, а оттуда должен был приехать на его место „соответствующий своему назначению" военнопленный.

Последний день перед отправкой был чем-то вроде праздника.

— Вальдемар, — сказал старик Снелю еще засветло. — Так как завтра тебе предстоит дорога, тебе не требуется работать. Иди в комнату, читай газету.

Хедвиг и Анна для этого случая были одеты наряднее, чем обыкновенно, и относились к нему с заметно увеличившейся симпатией. Необычность этого положения, где человека любили как раз за то, что он уезжает, была бы обидна, если б Снель сам, к удивлению девушек, не обнаружил большой и действительной радости. Он также много выигрывал от этого перевода. На новом месте в артели, где он был безусловно свободен от всяких обязательств, он мог двинуть вперед

предприятие с побегом через границу, то единственно важное дело, ради которого он и приехал в эти места. Он тоже чувствовал себя воскресшим для новой жизни.

В этот вечер и Фурман, казалось, переменил свое мнение о Снеле. Он засадил его играть в реверси с Антоном и обнаружил много светскости, несколько раз, как вежливый хозяин, подходя к играющим и интересуясь ходом дела. Он явно желал победы Снелю, и так как Снель играл синими, он говорил:

— Ну, конечно, синие одолевают...

А когда Снель действительно выиграл, он искренно и простодушно объявил:

— Этого и следовало ожидать. Снеля не так-то легко обыграть. Снель башка. Он грамматику знает.

— А мы все боялись, что ты от нас убежишь, — сказали Снелю девушки по секрету.

— Вы были правы, — ответил Снель со смехом. Он припомнил, сколько раз за все это время он решал, что он „вправе“ бежать, и сколько раз, что он „не вправе“ этого делать.

Но теперь это было в прошлом и вызывало только улыбку.

Венгрия, октябрь, 1918.

1.

Около той поры я задумал пробраться на Буда-Пешт, к старому хозяину. Боялся дороги. В Тапольце вокзальный жандарм уже раз говорил мне: „Больше сюда не приходи". В Коморне была крепость-могила, и я уже сидел там однажды, а о Капошваре от товарищей слышал, что тамошний комендант беглых пленных подвешивает и садит в шпанки.

Однако двинул. Дорогу знал: вдоль подъездных путей, пока не выйдешь у озера на главную ветку. Была у меня и карта, но она только сбивала с толку. Читаешь по-немецки Платен-зее, а мадьяры то же самое называют Балатон, написано Рааб, приходишь в Дьер, и так во всем. По путям итти было то преимущество, что не нужно никого спрашивать о дороге, а для меня чем меньше разговоров, тем лучше.

Ночи в октябре холодные, спать не приходилось. Спал днем, на солнце, пока грело, недолго, по нескольку раз, вставал и снова шел. На полях местами трепалась кукуруза, желтая, твердая, с лошадиный зуб, которую сырьем не станешь

есть ни с какого голоду. Виноградники всюду охранялись. Хлеб свой я съел в первый же день. Оставалось есть ягоды терновника и боярышника да разбивать камнями персиковые косточки, которые после прохода поездов валялись вдоль всей линии.

Месяц назад я также шел вдоль путей в другом месте, но тогда по откосам росла ожина, сияло солнце, и я тогда еще не оставил манеры сворачивать время от времени в деревни за хлебом и супом. Пленным, бредущим неизвестно куда, в деревнях не отказывали в пище: мне случалось даже видеть людей, которые принимали меня как гостя, сажали в кресло и заводили со мной разговоры, давая мне понять, что я такой же человек как они, но только попал в беду. У таких людей я чувствовал себя не на месте. Мне казалось более подходящим, если мне с умеренно дружелюбным видом давали кусок хлеба и замечали при этом ворчливо: „Сколько, однако, развелось этих пленных! Почему не сидите в лагерях? Почему не идете работать?“.

Эти визиты в деревни кончились тогда печально, потому что в деревнях трудно избежать встречи с полициантом, человеком с черным пером на шляпе. Я был арестован и отправлен в лагерь. Это была томительная задержка, которая отодвинула меня в моих планах назад, и теперь я предпочитал голодать, но никуда не заходил.

Мне некуда было торопиться, но я шел день и ночь почти без остановок. Я был голоден, слаб, меня качало ветром, озноб иногда валил меня с ног. Я знал, что без пищи мне долго не про-

держаться, но когда вечером где-нибудь поблизости от дороги показывались огни и слышались людские голоса, я убеждал себя, что я успею и завтра сходить в деревню, что сегодня нет еще большой надобности. Меня самого удивляло при этом, что я так легко соглашался со дня на день откладывать момент насыщения: не был ли я истощен до такой степени, что мне уже было не до еды.

Я не помню, чтобы какое-нибудь из моих странствований было таким печальным. Однажды я так устал, что уснул на полотне, положив голову на рельсы, смутно утешая себя перед тем как уснуть догадкой, что поезда по этой линии ночью не ходят.

Я помню встречу глубокой ночью с человеком, идущим по полотну, в час луны, холодного тумана и огромных теней от межевых тополей. Сойдясь, мы останавливаемся, потому что людям, столкнувшимся в четыре часа ночи на узкой полосе, нельзя пройти мимо друг друга просто так. Я замечаю, что у него тяжелые, подкованные сапоги, что он должно быть железнодорожный сторож, но мне нельзя особенно его разглядывать. Воротник моего пиджака поднят, я придерживаю его у горла подбородком и мне не хочется подымать голову. Я стою против него молча, как остановился бы перед опущенным шлагбаумом.

— Так вот оно что, — говорит он вдруг, разглядев меня, и голос его звучит глубоким участием.

— Так вот оно как, — повторяет он еще раз и качает головой.

Он сует руку в карман, достает горсть скрюченных табачных листьев и дает мне. Когда он

трогается дальше и исчезает в тумане, я смотрю ему вслед. Мне жалко самого себя до слез.

Я помню так же, как однажды на рассвете я стоял около куста терновника и рвал синие, влажные ягоды. Я не мог съесть их больше двух, но почему-то продолжал обрывать ветку. А по другую сторону куста стояли два мадьярских мальчика, шедших на виноградники, с кривыми ножами в руках, и рассматривали меня с пристальным интересом. Я достал бумажку и табак и негнущимися, замерзшими пальцами пытался скрутить папиросу, но ничего не мог сделать. Один из мальчиков взял у меня табак из рук, сделал что надо и сунул свернутую папиросу мне в рот. Все время он смотрел на меня широко открытыми глазами. Он нерешительно спросил меня о чем-то по-мадьярски, кажется он упомянул слово: хлеб. В другое время я отлично объяснился бы с ним на его языке. Сейчас я не мог вспомнить ни одного мадьярского слова. В углах глаз я чувствовал что-то лишнее и жесткое: это были застывшие слезы, выжатые ветром, холодом и печалью.

Один встретившийся мне отпускной солдат, довольный, поющий песни человек, остановил меня, чтобы отдать мне остатки хлеба из своего мешка. Он был почти дома, и хлеб не был ему нужен. Я взял хлеб, как нечто очень ценное, сейчас же поднес его ко рту, чтобы тут же съесть, но мои челюсти оставались вялыми и не сжимались. У меня не было никакого желания есть, и в удивлении я стоял перед солдатом, опустив руку с хлебом книзу.

— Эге, — сказал солдат, наблюдая меня. — Твое дело плохо. У тебя шпаньоль [1]).

В Капошваре я ослабел и пошел ночевать в солдатский третий класс. В буфете уборщиком служил пленный татарин. Я спросил его, будет ли ночью облава? — Кто его знает! — ответил он: — она бывает не каждую ночь.

Однако, облава была, я был задержан и ночью вместе с несколькими дезертирами и сомнительными отпускными солдатами отправлен в город к коменданту, где нас посадили в подвал на цемент.

— Теперь нам крышка, — сказал дезертир. — Два дня не дадут есть, два дня не пустят в отхожее. Я здешние порядки знаю.

В полдень, однако, нас поставили на рапорт к коменданту. Когда дошла очередь до меня, унтер-офицер изложил мое дело. Я сам забыл, что я говорил при аресте и какой фамилией назвался, и теперь был рад узнать, что меня зовут Сидоров, что я из Эстергома и направляюсь в Темешвар, по той причине, что давно не имею известий из России о матери и надеюсь узнать что-нибудь о ней от моего двоюродного брата, тоже пленного, работающего в Темешваре. Я ждал шпанок за эту трогательную историю, но комендант только сонно показал рукой, чтобы меня куда-то отвели.

— Скоро их всех к чертям, — шепнул мне дезертир, блестя глазами и сохраняя неподвижное лицо.

— Кого к чертям? — спросил я.

---

[1]) Испанка.

— Лейтенантов, обер-лейтенантов, ритмейстеров, оберстов, — не двигая губами и с явным удовольствием перечислял дезертир. — Всех к чертям, как в России...

Место, куда комендант сказал отвести меня, было бюро военнопленных, откуда хозяева брали их на работу. Никто из хозяев не пришел в бюро, пока я сидел там, да и меня все равно никто бы не взял. Здесь не было часовых. Я ходил по двору, стоял на улице, мог бы уйти совсем, если б была охота.

— Ты пойдешь назад к коменданту, — сказал писарь, выходя к сумеркам из канцелярии. — Мне некуда тебя девать.

Воспоминание о цементной камере испугало меня, и я всеми силами стал доказывать, что мне незачем туда итти.

— У меня шпаньоль, — спохватился я, вспомнив, что говорил солдат, — отправьте меня лучше в госпиталь.

Все русские пленные считались тогда подозрительными по испанке. Писарь не был удивлен и без спора дал мне препроводительную в госпиталь. Я ушел от него счастливый, с перспективой ночлега в постели. Пленный итальянец должен был показывать мне дорогу.

„Мне напрасно ругали Капошвар, — думал я, в возбуждении шагая к госпиталю на окраину, — здешние унтер-офицеры очень милые люди и пленные здесь ходят без конвоя...“

2.

Шпаньоля однако у меня не было. Пройдя в приемной мимо доктора, который кивком дал понять, что я принят, постояв у окошечка, где давались талоны в баню и на довольствие, выкупавшись в ванне в одной воде с каким-то другим человеком, сдав платье в дезинфекцию и получив в обмен короткие банные сподники и рубашку, только что снятую с себя госпитальным капралом (мне еще никогда не приходилось надевать рубашку с тела на тело, и я сделал это не без колебаний, банщик же видел гордыню в том, что я медлил надеть на себя рубашку после такого человека), отыскав в темноте барак с требуемым номером и добравшись наконец до постели, покрытой к моему удивлению совершенно чистой простыней, я уснул мгновенно и на много часов, а когда проснулся, был бодр, весел, хотел есть и едва угомонил свой опустевший желудок несколькими мисками супа,—своей и теми, что стояли нетронутыми на столиках соседей, справа и слева. Они были по-настоящему больны и не могли есть.

Впрочем, всех испанских больных в тот же день перевели за проволоку, в заразные бараки. Вместе с ними ушла наполнявшая барак атмосфера вздохов, томления и бессилия. Тон барака поднялся. Оставшиеся здоровые почувствовали себя уютно среди своих, сдвинулись к одному месту и решили, что если дело обстоит так, то госпиталь как раз подходящее место для людей, которым надо как-нибудь перебиться до поры до времени.

Был когда-то в бараках порядочек. Больные лежали по своим местам, с температурными листками над головой, им ставились градусники, их лечили, выписывали, а коменданты бараков, из пленных, годами выслуживавшиеся на этих должностях, ежедневно обходили кровати, считая простыни и диэты.

Если б такие порядки завелись у нас, мы бы нашли их стеснительными и наверное все бы разбежались. Мы жили много веселее, переписали на себя порции какао и колбасы, выписанные когда-то для каких-то больных, которые или умерли или уехали, доставали платье и ходили в город и смотрели на госпиталь как на место отдохновения.

Доктор к нам не ходил. В лучшем случае давал в дверях коменданту две стопочки порошков, от кашля и от головы, и шел дальше. Комендант входил в барак, повторяя: „Эти от кашля, эти от головы". Но так как порошки были в одинаковых бумажках, неизменно случалось, что, дойдя до своего места, он уже не мог с уверенностью сказать, в левой ли руке у него лежат порошки от кашля, а в правой от головы, или наоборот, и чтобы не напутать, складывал их в столик около кровати со словами: „Чорт их там разберет!"

Комендантом у нас был Васька Шашел, очень длинный молодой человек, своим видом возбуждавший во многих веселье. Старые коменданты служаки, помнившие и эпидемии и бунты, к тому времени повывелись, потому что, получив откуда-нибудь верные сведения, сами записывали себя инвалидами и переправлялись в Россию. Комен-

дантами делались кто хотел, а Васька как раз был одним из таких желающих.

Его главным занятием было следить за исправностью трубы в отхожем месте, к чему он относился с жаром, кроме того он должен был сообщать в батальон число слабых и общих порций и следить, чтобы ординарцы по дороге с кухни не слишком много вылавливали из мисок мяса. Он любил также по временам обходить барак и делать по разным поводам выговоры, но если замечал, что с какой-нибудь кровати бесследно исчезла простыня или видел что кто-нибудь греет кофе на щепках от стенного шкафика, он не подымал большого шума, справедливо полагая, что, если от него потребуют отчета в инвентаре, он всегда успеет удрать. Итальянцы в своем углу вообще не признавали Ваську и говорили, что итальянцы сами все коменданты...

— Italiani tutti commandanti...

Ваську возмущала итальянская манера спать, накрывшись одеялом с головой, но выставив наружу босые ноги. Он советовал итальянцам и даже приказывал им подражать русским, на половине которых как раз все ноги были спрятаны, а головы торчали наружу. И однажды, когда Васька мимоходом пощекотал чью-то выставленную на перекладину, выпиравшую из кровати пятку, произошла бурная сцена, кончившаяся для Васьки афронтом, потому что итальянцев было много, а из русских за Ваську не вступился никто.

Васькина комендантская кровать, с двумя простынями и пушистым одеялом, была первой от входа у боковой стены. С другой стороны такую же кровать занимал переводчик Арнольд

Выдревич, приказчик из Гомеля, в свое время не подозревавший, что есть на свете мадьярский язык, а теперь делавший карьеру на переводах с русского на мадьярский. В городе у Арнольда была невеста-мадьярка, и он подумывал совсем обосноваться в Венгрии.

Арнольд жил с фасоном. На столике около его кровати лежал французский самоучитель Грооса, а в столике была склянка коньяку, без которого он чаю не пил. Самые чаепития совершал с невиданным в бараке шиком, выкладывая на стол салфеточку, ситечко, ложечку и даже подстаканник. По-русски он говорил то как следует быть, то подражая мадьярам, для чего повышал и понижал голос там, где не требуется, спотыкался, частил, отчего русские пленные, имевшие надобность в его переводах, находили, что он валяет дурака.

Этот самый Арнольд не шутя считал себя среди нас как бы оазисом в пустыне и оглядывал обстановку с тоскливым выражением, хотя в бараке было не мало хороших парней. Его не любили. Васька даже откровенно радовался его огорчениям, которые заключались в том, что Выдревича не признавали на кухне и не давали ему к обеду ничего лишнего, ни компота, ни какао, ни бисквитов. Между тем госпитальный сапожник, да и многие из нас нередко приносили с кухни то того, то сего.

Другое огорчение Выдревича, которое он не скрывал, касалось его невесты: она была очень нежна с ним, а он охладел к ней.

Дальше была кровать Василия Васильевича, немолодого почтового чиновника, нос которого

представлял для всех загадку. Посредине носа была впадина, и никто не мог сказать с определенностью, было ли это следствием сифилиса или же Василий Васильевич с таким носом родился. Он служил курьером у каптенармуса, бегал по городу с поручениями, добывая деньги продажей случайных вещей из цейхгауза. Деньги все ухлопывал на ром и палинку, но пить старался не при всех, а по темным углам, за дверьми, для чего иногда неизвестно почему вдруг выходил из барака, и через минуту возвращался немного более красный. Его кряканье и жест, с которым он при этом оглаживал свои густые усы, всегда казались мне удивительно знакомыми. Это был типичный запойно-пристойный провинциальный чиновничий жест.

Через кровать от Арнольда лежал бледный юноша с повязанной головой, доставленный в госпиталь из имения одной важной провинциальной дамы. Юноша был любовником этой дамы и за это поплатился разбитой головой. Рана была неглубокая, но от нее часто болела голова. Арнольд писал для него письма, к даме в имение: „Илонка, пришли чего-нибудь сладкого“. Он был простоват и с зявязанной головой походил на бабу, так что, когда он рассказывал о своей Илонке, на лицах слушателей, кроме зависти, появлялось и легкое удивление, что такие вещи случились именно с ним. Васька, больше других зажигавшийся от таких разговоров, даже вслух удивлялся, что вот с ним, с Васькой, за все четыре года не случилось ничего подобного, а такой маруде повезло...

Юноша был обладателем золотых часов и массивного золотого кольца. Арнольд старался перетянуть это кольцо к себе, предлагая в обмен свое маленькое колечко и уверяя, что в нем золота на поверку выйдет больше. Разговор об этом велся ежедневно с упорством и настойчивостью.

Дальше стояли кровати двух юных итальянцев. В барак они приходили только ночевать, а днем работали в городе на кухне большого ресторана, около вина и мяса, среди женщин и суеты. Иногда они с увлечением рассказывали товарищам о необыкновенных вещах, которые им там случалось есть. Каждое утро после пробуждения они разыгрывали легкую комедию, побуждая друг друга вставать: тот, кто только что выражал решимость встать, неожиданно опять поддавался сну, а тот, кто просил дать ему поспать, вдруг исполнялся бодрости. Это была игра, кончавшаяся смехом, после чего они вскакивали в одно время и, одеваясь, для бодрости пели. Их любимая песня была с припевом: „Voglio morire che tan soffrire“, что значило: „Лучше умереть, чем так страдать“, и вызывало улыбку у тех, кто сравнивал грустное содержание песни с их пухлыми лицами, на которых из-под печальной мины, требуемой песнью, сами собой пробивались веселые полудетские улыбки.

Еще дальше лежал казанский татарин, свалившийся в трюм парохода в Фиуме. Кости у него были целы, но отбитые руки не действовали. По дороге из Фиуме он побывал в нескольких госпиталях, но всюду попадал в такие углы, куда доктора не доходили. Мне и другим приходилось поддерживать его, когда он ходил в уборную,

и во время обеда кормить с ложки, что было некстати, потому что в это время собственный суп стоял и стыл. Лежа долгое время на одной казенной порции, он должен был бы пропасть. Он понимал это, но боялся доверить кому-нибудь деньги, висевшие в мешочке у его шеи. В конце концов он позвал меня и попросил достать из мешочка сто корон и не трогать остального. И хотя уже одна такая просьба была выражением большого доверия, он безбожно косился на мои руки, пока я орудовал у его горла.

Присутствие этого беспомощного распластанного человека в бараке, в котором все были здоровы, казалось неуместным. Васька откровенно старался спровадить его в другой барак.

— Скажи мне, наконец, что у тебя такое? — приступал он к нему, решаясь взяться самому за его лечение. — Чего ты все лежишь? Сломал ты кость? Вывихнул сустав? Осушил жилу? Отвечай!

Татарин шевелил бессильными руками. Васька прощупывал их по опавшим мускулам, сгибал в локте, спрашивал, где болит, а так как у татарина нигде не болело, а переломов и вывихов тоже не было, заключал, что значит татарин осушил себе жилы. Что это значило и опасно ли это — Васька не объяснял.

— Тебе надо в другой барак, — говорил он в заключение. — Там за тобой уход будет.

Татарину было все равно. Он об одном просил, — дождаться на дворе доктора и попросить его посмотреть больного. Мы все давно уже обещали ему это, но хирург все не попадался нам. Стоять же на холоде часами и ждать его тоже не было охоты.

Другим мучеником в бараке был серб, с пулей в животе... С этой пулей он попал в плен, три года работал у крестьян и не чувствовал от нее больших неудобств. Она дала себя чувствовать только на четвертый, и так остро, что бедный серб влачился, согнувшись пополам, не мог есть и пил только сельтерскую воду. Сербы со всего госпиталя заботились о нем, но и им также не удалось разыскать среди докторов хирурга и привести его к больному.

3.

В местном гарнизоне произошел инцидент. Какой-то вольноопределяющийся отказался принести присягу Карлу.

Это было на что-то похоже. На дорожках вдоль ограды стало попадаться много физиономий, ясно показывавших, что владельцы их что-то знают, но помалкивают. Кое-кто, возвратившись в барак откуда-то с самыми верными сведениями, поглядывал кругом с веселым видом и, не распространяясь особенно, собирал пожитки и исчезал. Пленные, записанные инвалидами, готовясь к отправке, сушили сухари на солнце и беспокоились, успеют ли они куда-то „проскочить“...

Мы с татарином никуда не торопились. Ему предстояло лежать и лежать, а я после путешествия все еще никак не мог наесться, чтобы почувствовать в себе силу для новых подвигов.

Дела татарина поправлялись. Он вставал иногда с постели и ходил, уже никем не поддерживаемый. Правая его рука понемногу крепла, он мог двигать ею вверх и вниз, но так как пальцы

на ней не гнулись, то из его стараний есть без чужой помощи пока ничего не выходило. Ложка, едва прижатая к ладони большим пальцем, ходила косо в одном направлении и, расплескивая суп, подносила его скорей к плечу, чем ко рту, но татарин не терял надежды и на свободе практиковался над пустой миской и пустой ложкой, доводя себя до изнеможения. Бедняге давно уже хотелось поесть самому, по своему полному хотению. Люди, которые кормили его с ложки, всегда норовили спихнуть ему все поскорей в рот, чтобы у самих не стыло. Татарин давился, возмущался бессердечием здоровых, но молчал.

Совершенно неожиданно случилось также, что в барак зашел долгожданный хирург, которому наконец было дано знать, что в бараке лежат серб с пулей в животе и разбившийся татарин. Татарину он сказал продолжать лежать, серба пообещал отправить „на фотографа“ для рентгеновских снимков.

Это был доктор, пользовавшийся известностью в городе; говорили, что у него есть два способа лечения. Одних больных он донимал диэтами, на вечернем визите запрещая им то, что сам же прописал утром, заменяя какой-нибудь персиковый компот, который едва успели приготовить по его утреннему рецепту, кашей с несвежими яйцами, а на следующее утро запрещая и компот и яйца, и прописывая больному всего навсего стакан холодной воды.

Для других больных у него существовали клизмы, без которых он вообще не любил иметь дела с больными, применяя их при самых различных заболеваниях. Особенно эффектно это

выходило после того, как больной жаловался ему на плохое моральное состояние, на раздражительность, на упадок духа.

— Так, так, — с серьезностью выслушивал его доктор до конца и, отходя, указывал на него глазами сиделке:

— Сюда одну клизму...

Комизм положения усложнялся тем, что, вызывая улыбку у новых людей, присутствовавших при этом, он явно уже ускользал от понимания доктора и сиделки, с неудовольствием замечавших, что люди кругом смеются.

Вообще же говоря, это был сорокалетний рассеянного вида толстяк. Увидев себя среди русских, он оглядел всех с благожелательностью и любезно сообщил:

— Скоро вы все поедете домой...

Никто не был особенно поражен этим известием, потому что все знали, что скоро поедут домой, но явное желание доктора порадовать нас расположило к нему сердца.

— Как только вы будете жить там? — прибавил он в раздумьи, — у вас там большевики...

— Там увидим, — сказал Васька бездумно, — нам лишь бы доехать...

— Там чорт знает что происходит, — продолжал доктор. — Нечего есть и города горят с восьми концов...

О русских большевиках тогда говорили все. Это была самая последняя интересная выдумка. В газете я часто читал статьи о них и все они были написаны в том тоне, в каком говорят о сильно расшалившихся милых ребятах. Такие шалости, как прекращение войны и заключение

мира, одобрялись; такие же, как изгнание буржуазии, разгромы и прочее, считались опасными и порицались, и всегда давалось понять, что ребята будут шалить лишь до поры до времени, пока кто-то их не прихлопнет. Широкая публика мало что знала о большевиках толком, и еще меньше знали о них русские пленные, которые к тому времени едва разделились, с трудом и недоумениями, на русских и украинцев, и нередко случалось, что какой-нибудь Руденко из Полтавской губернии, впервые при перерегистрации узнав, что он именно и есть украинец, а не русский, чрезвычайно этому удивлялся.

Даже люди, побывавшие в России, возвращающиеся из плена австрияки, могли сообщить о большевиках очень немного.

— Ну, как там большевики? — спросил я одного такого пленного.

— О — ответил он, неожиданно делаясь задушевным, — это хорошие люди... Это очень хорошие люди...

— Почему собственно? — удивился я.

— Когда мы шли с Дону, на одной станции мы попали под их броневик. Пока они стреляли, мы сидели в соломе. Потом мы вылезли. Станция была за ними. Они обошлись с нами хорошо. Они выбросили нам из вагона несколько ящиков с консервами. По целому ящику на пять человек, можете себе представить. Они говорили нам: ешьте, товарищи! теперь все равны!

— Это великолепные люди! — сказал он еще раз. — О них напрасно пишут разные вещи.

В столицах большевики все лето фигурировали в опереточных обозрениях. Когда кто-ни-

будь поступал с кем-нибудь очень решительно, ему говорили:

— Вы точно большевик...

И хотя в газетах о них, действительно, сообщались разные вещи, широкая публика чувствовала к ним симпатию. Их манера одним махом выходить из таких неприятных затруднений, каким была война, очень импонировала австрийкам, запутавшимся среди обилия национальностей и династий. Большевикам в это время симпатизировали даже такие люди, которые потом, всего через полгода, когда около них завелись собственные большевики, может быть, не могли придумать казни, для них подходящей.

Доктор точно так же не питал злых чувств к большевикам и, считая, что каждый русский или уже готовый большевик или будет им впоследствии, разглядывал нас с очевидным интересом. Ему только хотелось определить, кто из нас наиболее типичный, и таким, повидимому, показался ему Васька, потому что, дойдя до его здоровенной фигуры со взглядом слегка оголтелым, доктор заулыбался сильнее и пришел в полное удовольствие.

— Спросите вот у этого, — сказал он переводчику, указывая на Ваську, — не большевик ли он?

Арнольд перевел Ваське, о чем спрашивал доктор. Васька, знавший о большевиках только то, что при них все дорого, но что они за бедных, к удивлению присутствовавших, и не подумал отрекаться от большевизма.

— Сами знаете, — ответил он шутливо, — как нашему брату Исаю Далматскому живется...

— Бедное состояние, — прибавил он потом жалобным голосом, при общем выжидательном молчании.

— Большевик, — закончил он решительным признанием и осмотрелся с важностью.

Доктор был от него в восторге.

Васька не только знал, за кем ему итти в России, но недурно понимал также значение и темп некоторых, происходивших около него, событий. Именно, очень скоро после докторского визита, он, по непонятным для других причинам, решил распродать свое имущество.

Он был обладателем крепкой мало ношенной шинели, пары не плохих штанов, френча, обмоток и прочего одеяния, и так как каждая вещь была у него в единственном числе, ему, после продажи предстояло остаться голым или ходить в отрепьях. Таким образом его намерение было решительно непонятно.

Главный козырь Васьки при распродаже была пара крепких франтовских ботинок. Их сшил ему незадолго перед этим и на наших глазах какой-то заезжий, числившийся в инвалидах, сапожник, путаный, фыркавший на госпитальное житье человек, который сам не знал, ехать ли ему с инвалидами в Россию или достать инструмент и работать где сидит, и толкавшийся где надо и не надо в поисках шила и колодок.

Васька смеялся над этим суетливым, прилипчивым, тоскующим по делу человеком, говорил, что сапожник без колодки то же, что дьякон без ораря, и с сомнением спрашивал, точно ли он умеет шить сапоги?

— Кто? — удивлялся сапожник, глядя на Ваську, как на человека с того света. — Я-то, шить ли умею?

— Вот именно, — ты-то?

— Да другого, брат, мастера, такого как я, еще поищешь, брат мой...

Васька пожалел несчастного человека, у которого руки явно чесались по работе, раздобыл для него на пару часов инструмент и притащил кожаных обрезков, а сапожник, сопя и горя, к вечеру изготовил из них ботиночки сортом много выше среднего.

— Сколько тебе за работу? — спросил Васька, приготовясь дорого не давать, да еще постараться заплатить не деньгами, а казенным хлебом, но странный сапожник не хотел ни того, ни другого. Он вообще ничего не хотел и видел свою награду уже в том, что ботинки его произвели в бараке впечатление. Васька не стал настаивать на уплате.

Ботинки привели его в восторг. Он откровенно любовался ими и даже неосторожно выразился, что таких ботинок у него и в России никогда не было, что сильно уронило его в мнении Арнольда и других.

И тем не менее пришел момент, когда Васька, сам одетый в опорки и тряпье, потащил ботинки и остальное великолепие в набитый людьми венерический барак и заголосил с порога:

— Продаю! Продаю! Продаю! Покупай шинель! Хватай штаны! Навались на желётку!

Продавая, Васька явно торопился, охотно уступал и очень скоро вернулся в барак с довольным лицом и с тремя стами крон в кармане.

Непонятным образом, желание продать кому-нибудь свое обмундирование обнаружили на следующий день очень многие, но покупателей находилось все меньше.

И все это объяснилось через неделю, в те самые дни, когда в Пеште провозгласили республику, когда с фронта сотнями тысяч двинулись солдаты, когда в госпитале часовые ушли из караульного помещения, когда всем, и своим, и пленным, был объявлен свободный путь домой, и когда... был разгромлен цейгхауз N полка, где каждый мог заново обмундироваться с головы до ног.

Тогда-то и обнаружилось, что Васька был не лишен понимания хода событий, хотя не читал газет, тогда как я, читая газету, не понимал самых простых вещей.

Я так мало разбирался в происходящем, что приплелся к разгромленному цейгхаузу только тогда, когда там осталась одна рухлядь. Двери были открыты, оттуда выходили солдаты с охапками тряпья. Все были заняты своими приобретениями, все были разгорячены. Следовало бы войти в дверь, как делали все остальные, но я все еще чувствовал себя пленным, привыкшим к обходам и ужимкам, и вместо двери полез в окно, высаженное до того каким-то пионером разгрома. Окно было очень высоко от земли, но я проявил упорство и ловкость и почти просунулся внутрь. Внутри капрал с винтовкой наблюдал, чтобы дело шло гладко и люди не очень жадничали. Человек, лезущий в окно, был явный непорядок; капрал закричал и выстрелил в потолок. В страхе я скатился вниз, а затем на меня из окон попа-

дали другие люди, которые были внутри, но, испугавшись выстрела, бросились спасаться кто куда.

Оправившись от переполоха, все снова двинулись к цейгхаузу. Я вошел теперь через дверь, но тоже, вместо того чтобы молча пройти мимо капрала, как сделали другие, я для чего-то остановился перед ним и стал объяснять, почему именно я пришел сюда и как случилось, что все мои вещи пропали в дезинфекции и я остался голым. Капрал, не входя в подробности, повернул меня за плечи и показал на кучу тряпья и старых подошв, взрываемую десятками рук. Впрочем, и тогда я еще чего-то ждал и стоял на месте, и от капрала потребовался легкий поощрительный толчок в спину, чтобы я, наконец, принялся за дело.

Ничего путного в кучах уже не было. Я нашел подходящими лишь латаные брезентовые штаны и какой-то ремень от чересседельника, и с этой добычей вернулся в барак, встреченный смехом и недоумением товарищей.

Вся причина моей неудачи заключалась в том, что, пока другие орудовали в цейгхаузе, я был занят чтением большой статьи, где излагалось историческое развитие республиканской идеи в Венгрии, от Кошута до наших дней, как эта идея зрела, зрела и, наконец, созрела настолько, что монархия должна была пасть. Хорошо еще, что, дойдя до современного момента, я отложил газету в сторону и не стал читать об эволюции республиканской идеи в будущем, иначе я остался бы даже и без тех штанов и того ремня, какие мне удалось добыть.

4.

Мадьярская революция — революция для своих, чужому к ней не пристать. На улицах повсюду веселые лица. На шапках, в петлицах трехцветные ленточки, в каждом взгляде уверенность, радость новизны. Приятно смотреть на такую толпу!

Но почему так плохо чувствуют себя в толпе люди, у которых на груди нет красно-бело-зеленой ленточки — демобилизованные чехи, хорваты, русины? Почему их главное стремление — попасть поскорее в поезд и ехать домой? Почему всю дорогу они нервничают и в тревоге и, только миновав границу, где-нибудь в Бруке или Керешмезо, приходят в себя и немедленно надевают свои собственные желто-голубые и сине-красные ленточки, у многих давно уже лежавшие в кармане?

Почему немецкий летчик, вздумавший пройтись по городу во время остановки поезда, огромный детина в мехах и коже, вынужден все чаще и чаще краснеть от недомолвок и косых взглядов, пока наконец сам не принимает надменного и вызывающего вида. Почему взгляды встречных, блиставшие оживлением и добротой, вдруг тускнеют и делаются непроницаемыми, стоит им упасть на ни в чем неповинного белокурого гиганта, пробегающего город саженными шагами, с руками в карманах, с краской волнения на лице и с вопросом в голубых глазах.

Почему фигура русского пленного, еще недавно попадавшаяся на каждом шагу и ставшая привычной, вдруг начинает казаться какой-то лишней и прямо-таки неуместной.

— Мадьяры у себя дома и желают остаться одни, — вот смысл многих бросаемых ему взглядов!

Бедняга сам чувствует свою неуместность, и оттого ступает так неуверенно, с опущенной головой, с разладом в душе. Он привык на этих улицах быть безобидным пленным, ничем больше, а его сделали гражданином, потому что не было оснований не считать его таковым, и с новой ролью он не может освоиться.

Почему десятки тысяч таких фигур, вышедшие из никем неохраняемых лагерей и двигавшиеся по дорогам к Пешту, вызвали там страх и тревогу, такую тревогу, что в театрах были прерваны спектакли, а национальные гвардейцы поставлены под ружье. Между тем единственное, чего хотели эти люди, из которых многие пришли в Пешт, кутаясь в тряпье и одеяла, — это чтобы им дали есть и поскорее посадили в вагоны.

Почему на митинге из десяти ораторов — девять адвокаты и почему даже самый умный из них не может придумать больше того, что уже возгласил (своим стенторовым голосом) в Пеште Януш Хук с трибуны национального собрания. Почему от таких слов, как мадьярское государство (или, вернее, мадьярский народ, или еще строже — мадьярская нация, все мадьяры) — слушателю-иностранцу становится трудно дышать.

И почему ему так нравится десятая речь, сказанная с запинками седым рабочим, предлагающим установить в Венгрии ни больше ни меньше как большевистский режим.

Он сам не очень уверен в своем проекте. Он только напоминает собранию, что и такой способ

жизни существует, и спрашивает, не попробовать ли им тоже осуществить большевизм, раз в стране все равно революция. И собрание, может быть, почувствовав свежий воздух после духоты, напущенной предыдущими ораторами, провожает его аплодисментами...

5.

В бараке о совершающейся рядом революции знали немного, да и неоткуда было знать больше. Знали что по случаю революции многие оделись в новое теплое платье, знали, что по этой же причине можно ехать домой не с пустыми руками, а с одеялом и парой простынь, за что на базарах платили наличными деньгами. Бывая изо дня в день там и тут, можно было наблюдать, как мало-по-малу пустеют бараки, из которых разъезжаются больные, как один за другим исчезают повара с кухонь, сторожа из покойницкой, писаря, профосы, коменданты, как набивается покойницкая трупами людей, которым не суждено было видеть родину, трупами, бросаемыми без толку, прямо с порога на общую кучу.

Итальянцы гордились тем, что Италия с Францией и Англией победили в конце концов Германию, и однажды собравшись вместе, что-то с одушевлением пропели. Русские давно не считали никого врагами и без дальнейшего набивали чем попало вещевые мешки и двигались на вокзал.

— Домой! Там увидим, что правда, что нет.

Госпитальный фельдфебель оставшийся без рабочих, стал необыкновенно любезным. Он

являлся в барак в мундире без звездочек и со споротым галуном и спрашивал, не найдется ли желающих немного поработать, протащить несколько кварталов тачку с кукурузой или принести из города мешок с хлебом. Он договаривался до немыслимых прежде фраз:

— Не будет ли кто-нибудь так любезен...

Арнольд по этому случаю заключил, что теперь пришло время предъявлять требования. Старые огорчения из-за недоданных порций какао все еще были живы в нем.

— Теперь, — говорил он, лежа на кровати и в поучение окружающим, — дай мне все, что мне полагается, от и до...

Рубил ладонью воздух, показывая где от и где до, и захватывал довольно большое расстояние.

Меньше всех знал о революции татарин. Его отбитые руки занимали его больше всех революций на свете. Он лежал в постели, косил глазами на входящих и выходящих, по временам просил о чем-нибудь, помочь ему подняться или перестлать постель, и ложился снова. И как раз в эти дни оживления и сборов в путь он стал жертвой одного недоразумения.

Толстый доктор не забыл, что в нашем бараке лежат серб с пулей в животе и разбившийся татарин, что их надо перевести поближе к операционной, а серба кроме того отправить „на фотографа“.

Но прежде чем отправлять туда серба, ему для успеха снимков требовалось прочистить желудок, т.-е. получалась опять-таки та самая клизма, которая сделала имя доктора славным в округе.

— Одному человеку в этом бараке должна быть поставлена клизма, — сказала присланная им сиделка, входя в барак с прибором в руках.

По чутью она верно направилась к кровати серба, но этот огромный согнутый пополам человек боялся клистиров и, не понимая своей пользы, малодушно ответил, что это должно быть не ему, а кому-нибудь другому. Его земляки, в счастьи и несчастьи всегда держащиеся друг за друга, решили, что пришла пора защитить товарища, окружили его постель и приняли решительные позы.

Кто-нибудь другой, к кому отсылал сиделку серб, мог быть единственно татарин, никого другого подходящего в бараке не было, а так как сиделка знала только, что одному человеку в бараке должна быть поставлена клизма, то она и приступила к татарину с той решительностью и ловкостью, какие даются многолетним опытом, и прежде чем кто-нибудь успел разъяснить ей, что тут происходит ошибка, татарину был вклеен молниеносный клистир.

Переговоры с сиделкой через переводчика заняли не мало времени, а в это время вода в склянке убывала, и когда наконец недоразумение выяснилось, оказалось, что спорить уже не из-за чего. Операция была закончена, и оставалось только ждать результатов.

История эта, когда ее разжевали, вызвала в бараке не мало смеха и внесла в обстановку сборов в дорогу заключительную веселую ноту, но татарину было не до смеха. Его бледное лицо и взгляд, брошенный им на одного веселого человека, хохотавшего при этой оказии до упаду, были

выразительны. Тут было и подавленное бешенство, и упрек другим за то, что его не сумели отстоять, и отчаяние от сознания, что сам он без рук и каждый может делать с ним что угодно.

6.

Барак стремительно пустел. Все, даже те из больных, кто едва мог доплестись до вокзала, уехали, и некоторые на верную смерть. Путешествия в эти дни были очень трудны. От человека требовалось уменье по нескольку суток стоять на ногах в переполненных вагонах, ехать на крыше через туннели, коченея от холода и задыхаясь от дыма, слезать, где все слезали, чтобы пробежать десяток верст пешком и снова ехать, без пищи, без сна, среди людей, потерявших жалость и здраво рассуждавших, что если человек ослабел, то его можно выложить на рельсы и снять с него сапоги, даже не дожидаясь, пока он умрет, потому что его дело все равно безнадежно, а сапоги нужны здоровому. Больной всем мешал, а крохотные карпатские станции с выбитыми стеклами ни от чего не защищали. Здесь много оставалось мертвых. Даже в случае успеха, если человеку, едва отделавшемуся от эпидемии, с надломленными силами, удавалось проскочить через самые трудные места, если до Днестра он крепился из последних, то здесь, где-нибудь под Хотином или Каменцом, где он чувствовал себя как бы дома, сверхсильное напряжение покидало его, и он сразу и совершенно неожиданно превращался в труп. И тут стали возможны такие разговоры между

возвращающимися пленными и жителями какой-нибудь придорожной деревни:

— Дядько, пустить ночевать...

— Ночуйте, добрые люди, только не умирайте в хате, бо хлопот много...

— Мы, дядько, не умрем.

— Смотрить, бо вчера тут тоже были ваши, ели, пили, смеялись, легли спать, а к утру один холодный... Деревня — десяток дворов, а за ночь три мертвеца. Вот и считай, если каждый день так будет...

Барак пустел. Уходили люди, исчезали одеяла и простыни, каждый оставлял после себя мусор, какую-нибудь пару портянок или стоптанные ботинки, или даже целую вещь из тех, что были приобретены в цейхгаузе, но решительно никуда не умещались. Охотников подметать барак находилось все меньше.

Люди жили теперь все в одном месте, в самой светлой части барака, около печки. Дальше шел мрак, кровати с развороченными тюфяками, недоломанные стенные шкафики, всякий мусор. Из люков воняло, там гнила пища, ведра супу и овощей, получаемые на тех кто уехал и никем не поедаемые. Даже люди, не торопившиеся особенно в Россию, находили что пора искать себе другое пристанище на зиму. Неприятно было соседство покойницкой, в которой трупы уже не вмещались. Еще неприятнее были жалобы живых больных, являвшихся с просьбами помочь им в их бараках, потому что они всеми оставлены. Даже пример нескольких прелестных мадьярских девушек, явившихся втроем работать среди двухсот тяжело больных, не мог вдохновить нас.

Кое-кто, сам не очень твердо держась на ногах, днем таскал больных на носилках из барака в барак, но между делом налаживал себе походную сумку, набивал гвоздей на ботинки и к вечеру шел на вокзал. Больные земляки оставались. Они не роптали. Они понимали, что дурак тот, кто останется около них, с риском заразиться и умереть как раз в то время, когда каждый может ехать домой. Они только провожали уходящего глазами, и у него от этих взглядов оставалось такое неприятное чувство, что даже ветер, охватывавший его за порогом, и новые впечатления дороги долго не могли выветрить муть из его души, внушить ему уверенность, что он был прав, во всяком случае не очень виноват, если не остался и ушел.

Развал и запустение, до которого дошел госпиталь, возмущали душу. Кое-кто из бывшего начальства решил вмешаться в это дело. Один обер-лейтенант снова объявил себя начальником и собрал около себя надежных людей. Требовалось, прежде всего, собрать больных из разных дальних углов в несколько ближних бараков.

Я участвовал в этом деле. Вдвоем с фельдфебелем мы обходили бараки, находя по местам одиноких больных. Я помню одного молодого итальянца, который принял меня за священника и с молитвенно-сложенными руками просил у меня причастия. Он торопился рассказать мне свои грехи, но у меня не было желания вдаваться в это дело подробнее. Я поднял его за плечи, фельдфебель взял за ноги и, грохнув его на носилки, мы потащили его вон из барака, в то время

как он все еще смотрел на нас просветленным лихорадочным взглядом.

Среди десятков больных, перетащенных нами в эти дни, самым неприятным безусловно был один умиравший итальянец, лежавший в пустом бараке, на гнойном тюфяке, среди испражнений и вони. Мы подошли к нему в то время, когда его одолевала предсмертная икота. Он пришел в госпиталь с сахарного завода, и под подушкой у него хранился мешочек с красным сахаром. За этот самый мешочек он схватился за несколько минут до смерти, спасая его от людей, явившихся может быть с недобрыми целями. Еще удивительнее было, что нашлась какая-то старая мародерка из бывших сиделок, которая позарилась на этот сахар и утащила его, когда умирающий затих. Мы смотрели на нее с ужасом.

Когда в бараке не оставалось ни одного человека, фельдфебель вынимал гвоздь и наглухо заколачивал покинутый барак, со всеми его тюфяками, сломанными кроватями, нечистотами и иногда с каким-нибудь одиноким мертвецом, которого все равно некуда было нести.

Он забивал гвоздь и говорил с странным выражением.

— До лучших дней...

— До лучших дней... — повторял за ним я.

У меня так же, как и у других, была приготовлена сумка с сухарями и на мне были ботинки, годные на месяц пути. В один из вечеров я прошел мимо часовых, снова появившихся у ворот госпиталя и на вопрос, куда я иду, ответил:

— В Россию...

Библиотека Красной Армии Инв № .....